

Новая книга
от автора
легендарных
«Покровских
ворот»!

**В
Ы
ВЫКРЕСТ
Р
Е
С
Т**

**ЛЕОНИД
ЗОРИН**

**Новая книга
от автора
легендарных
«Покровских
ворот»!**

ЛЕОНИД ЗОРИН

ВЫКРЕСТ



**ЭКСМО
ЯУЗА
МОСКВА
2014**

УДК 82-31
ББК 84
3-86



Оформление Г. Федотова

Зорин, Леонид Генрихович.

3-86 **Выкрест / Леонид Зорин.** – Москва : Яуза : Эксмо, 2014. – 256 с. – (От автора «Покровских ворот». Русский еврейский роман).

ISBN 978-5-699-75868-5

Новая книга от автора легендарных «Покровских ворот»!

Первый роман о Зиновии Пешкове, человеке потрясающей судьбы и неистовых «ветхозаветных» страстей. Родной брат Якова Свердлова, усыновленный Максимом Горьким. Крещеный еврей, отказавшийся от веры отцов, но так и не ставший христианином. Герой обеих Мировых войн, потерявший руку на Западном фронте и удостоенный ордена Почетного Легиона.

Этот роман – «одиссея выкреста, вечного странника на земле». Подобно Агасферу, он повидал весь мир. Подобно Моисею, полжизни во-евал в пустыне, прокладывая путь в Землю обетованную. Подобно Соломону, не просто любил, а поклонялся женщинам, был осчастливлен многими красавицами и обрел новый символ веры: «Женщина – это спасение Господне! Моей религией на всю мою жизнь осталась женщина...»

УДК 82-31
ББК 84

ISBN 978-5-699-75868-5

© Зорин Л.Г., 2014
© ООО «Издательство «Яуза», 2014
© ООО «Издательство «Эксмо», 2014

*ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО*

16 октября 1966 года

Вот он, мой лут в золотых цветах!
Бежавший рядом со мной капитан крикнул, что это проснулся Везувий. «L'eruption!» — он засмеялся. И в ту же секунду упал, как подрубленный. Я даже не сразу отреагировал. Ведь предо мною возникло видение из отрочества — то ли из сна, то ли из шалого настроения. Вспомнилось: жизнь предстала мне лугом, покрытым золотыми цветами. Образ сомнительный, но отвечавший моим ощущениям и ожиданиям.

Прошло чуть больше пятнадцати лет, и вот я его увидел въяве — в первой атаке под Аррасом! Мальчик мой, все это неспроста.

«Где ты, сынок?» — «Я здесь, Алексей». Мы продолжаем переговариваться. И не имеет большого значения, толпа ли вокруг, грохот

и рев или, наоборот, тишина, беззвучный сумрак усталой осени, когда одиночество абсолютно.

Сегодня мне восемьдесят два. Немыслимый, непознаваемый срок. Выходит, я оказался живуч. Жизнь — спасибо ей! — расстаралась, каждый мой день мог стать последним. Судьба же сделала все, чтобы я, напротив, жил неприлично долго. Поэтому я все еще тут, все еще между вами, друзья мои.

Одна из новых моих привычек — вдруг замираешь вблизи окна, смотришь на знакомую улицу, на завоеванный Париж.

Он завоеван — и тем прекрасней. Ибо он завоеван мною. Ныне я это могу сказать. Когда с молодой петушиной дерзостью ты повторяешь великую фразу: «Ну а теперь поглядим, кто кого?», еще не знаешь, чего будет стоить победа над мировой столицей. Известно, что многие воители, даже преуспевшие в битве, видят, что торжество иллюзорно.

В этом и есть роковое несходство между литературой и жизнью — в книге герой еще может выиграть.

Юные птенчики верят сказкам так же, как они свято верят в свое физическое

бессмертие. Но я-то отлично знаю, что смертен. Я знаю не только, что все закончится, знаю и то, что закончится скоро, но не считаю себя проигравшим. Я ведь не брал на себя обязательств вступить в единоборство с природой. Я был готов поспорить с миром, причем — на его жестких условиях, с предложенной им игрой без правил. Я скоро понял, что предназначен для жалкой участи аутсайдера, и дал себе слово ее избежать. Кто скажет, что я его не сдержал?

Возможно, что исполнить задуманное мне помогло мое мальчишество. Оно оказалось неистребимым. И неуклонно, пренебрегая сперва взрослением, затем — старением, оно оставалось его мотором. Мальчишки до седых волос, странное, полубезумное племя, воспринимают жизнь как книгу — они ее авторы и читатели. Ну что же, могу сказать по праву: мне есть что прочесть на старости лет.

И есть за что себя благодарить. Я, сочинивший эту историю и осуществивший ее, знаю что говорю, поверьте. За срок, отпущенный небесами, людей и событий мне хватило. Но все равно — с самим собою я прожил бóльшую его часть, и ни минуты

не было скучно. Наоборот — хотелось понять этого странного молодца, в котором поселились однажды мой дух, моя душа, мое Я. Мне фантастически повезло — нам удалось отлично ужиться.

Да, он сберег — не расплескал — мой юношеский кураж и азарт. И все же не в этом был скрыт секрет его победы над обстоятельствами. Ребячество ходит рядом с беспечностью, а этот обаятельный дар может сыграть с тобой злую шутку — вдруг просыпаешься стариком и обнаруживаешь банкротство. Стало быть, должно в тебе жить некое немаловажное свойство, делающее молодость силой. Оно во мне есть, и зовут его — страсть.

Страсть направляла мой каждый шаг и опаляла мой каждый вздох. Причем независимо от того, на что была она обращена — на постижение старых истин, на достижение новой цели. На предстоявшую мне работу, которую я должен был сделать, и сделать едва ли не совершенно. На путешествие в глубь себя. На женщину, возникшую рядом, с которой, быть может, завтра прощусь. Все, что я делал, и все, чем я жил, было переполнено жгучей, близкой к иступлению страстью. Она и превратила в роман

всю мою жизнь и, прежде всего, в роман с этой жизнью, с первого мига вошедшей в меня своим колдовством, всем своим пламенем и соблазном.

Долгий игольчатый дождь иссяк. Быстрые желтые огоньки вспыхивают на rue Loriston, улице моего обитания. И небо цвета серого жемчуга — истинно парижского цвета, — темнея, перестает быть будничным. Вечерний город тревожит и дразнит смешным и невнятным предвестием радости. Я усмехаюсь: «Ты все еще ждешь?»

Но тут же браню себя за ненасытность. Ты перекормлен счастьем, дружок. Тебе все мало, пора уняться. Давным-давно уже мог быть засыпан кофейным раскаленным песком, гнить в яме и — в безымянной яме. Ты погружался в последний сон в обнимку с безносой и пробуждался, уже коченея от этой ласки. Ты все еще жив по милости Божьей. Рядом — Эдмонда, вокруг — Париж. Еще раз спроси себя: кто кого? Доволен ответом? Вот и прекрасно.

Однако же был и Нижний Новгород. Навек утраченный город детства. Унылое родовое гнездо. Махонький дом на Большой

Покровке. Тесные полутемные комнаты. Низко нависшие потолки, вот-вот придавят, вот-вот расплющат.

Это и есть мое начало. Нет, не слиянье Оки и Волги, не Дятловы Горы и не Заречье — только они, потолки и стены — некий предписанный мне с рожденья, неодолимый замкнутый круг.

Невыносимое состояние. Все, что обрубают пространство и ограничивает его, было мне ненавистно до судорог. Где-то бурлит неохватный мир. В нем и открытия и кочевья, но он запрещен, трижды запрещен! Я — меченый, я — узник и пленник.

Теперь-то я знаю, что тесен и мир. Земля опоясана и закольцована. Любая тропа уходит в почву. Что из того? Обретенное знание нисколько меня не изменило.

Зато меня так и не отпустил, точно преследуя, образ гетто. Сперва он нашел свое воплощение в городе детства, в Нижнем Новгороде, потом — в проклятой этой оседлости, позднее — в диаспоре как таковой. Дальше осталось сделать лишь шаг, и я его, разумеется, сделал. Гетто — твоя племенная вера, религия предков и точно так же — твое унаследованное государство. И одиночество — не убежище, может стать тою же за-

падней. Ибо твое сокровенное «Я» рискует вдруг оказаться клеткой.

Любая излюбленная идея — такое же замкнутое пространство. Опасно всякое ограничение, оно и ведет к аннигиляции.

Я больше почувствовал, чем осознал: в конечном счете любое племя имеет одну и ту же историю — историю обособления.

Я по привычке переводил свои ощущения в картинки — мне представлялось, как во Вселенной плывет, пугая другие звезды, обледеневший от одиночества корабль с задраенными каютами. Это виденье разъятого мира, замкнутого в своих пределах, не оставляет меня поныне.

Отрочество! А все-таки было, гнездышко на Большой Покровке с нашей нехитрой скоропечатней и гравировальной машиной, здесь же, за старым сатиновым пологом. Медная пыль набивалась в легкие, стелился вязкий кислотный пар, слезились глаза, першило в горле. Позже, когда семья разрослась, мы переехали во флигель. Однако и здесь меня ждали все те же нависшие низкие потолки. Зато мастерская повысилась в статусе — преобразилась в типографию. Отец печатал всякую мелочь. Случалось, рекламные листки, чаще всего — визитные карточки.

С какой-то непонятной досадой и даже с некоторой презрительностью смотрел я на эти клочки картона с фамилиями и именами, иной раз и с чинами заказчиков. И этикетка, и декларация! Свидетельство, что человек занимает некое место на Земле. Я думал, что всем этим простакам необходимо хотя бы такое, хотя бы картонное подтверждение того, что, вопреки своей малости, они что-то значат и что-то весят.

Потом я со злостью глядел в окно, в сознание мое словно впечатывалась будничная российская скука, тлевшая от зари до зари в губернской и уездной бессмыслице. Бежать отсюда? Куда? Зачем? Столицы таким, как я, запретны, а в каждом городе поджидает один и тот же, один и тот же, словно предписанный нам, пейзаж. Размноженная державной машиной визитная карточка русской провинции.

Цирюльня. Галантерея. Гостиница. Участок. Москательная лавка. Несвежие скатерти трактиров. Несвежие простыни мебелирашек — унылый приют прелюбодеев. Клуб. Карты. Рискую-с, банчок на кону! Казарменный очаг просвещения — гимназия. И наконец — антреприза с полуголодным актерским табором. Эти два пастбища ци-

визации, два чахлах, еле живых островка — гимназия, где учат без чувства, и театр, где играют без смысла, внушали особенную тоску — и в самом деле некуда деться. Все то же! Поскрипывая, кряхтя, вертится старое колесо.

Как изнурительно угасал, как долго, томительно, угрожающе кончался и все не мог закончиться российский девятнадцатый век! Со всей его пестрой суетой, кровопусканием, общественной жизнью и с политическим трагифарсом. Однако не только — еще и с поэзией, с усадебной грустью, с печальными женщинами, с его попытками слиться с Европой и страхом перед ее либеральностью, ее разномыслием, ее нравами, рождавшими явную неприязнь и скрытую раздраженную зависть.

А наше семейство все умножалось. Оно уже не могло разместиться в старом скворечнике, нас стало много. Отец был страстен и плодовит. Не зря же через многие годы, уже после конца нашей матери, устав тосковать, устав вдоветь, он вновь женился, и в новом веке на свет явились новые братья. Я так никогда их и не увидел. И, надо признаться, не слишком печалился. Хватило и тех, что были рядом. В особенности

второго брата. Мы были погодками, я был старше, и это так его угнетало! Казалось, он никогда не простит того, что я его обогнал — едва ли не сразу меж нами вспыхнула неистовая борьба за первенство.

Что делать? Обоим нам было душно в комнатках с низкими потолками — и каждый желал хлебнуть простора. Мне и в гимназии было бы тесно, я образовывал себя сам. Естественно, он стал гимназистом, чтоб доказать свое превосходство. Но ненадолго ему достало сил и терпенья — фуражка с кокардой была отброшена за ненужностью.

Это нелепое соперничество, как смертоносное копье, пущенное умелой рукой, словно прошило всю нашу юность. Мы не умели сойтись ни в чем, каждый пустяк таил опасность бессмысленного ожесточения, способного перейти в рукопашную.

У нас были разные друзья, нравились разные девицы, и мы читали разные книги. Больше всего его раздражали мои сомнения и улыбки. Однажды, надуваясь презрением, он процедил: «Любопытно знать, есть у тебя любимый герой?» Я усмехнулся: «Царь Соломон. Несколько сот прекрасных наложниц и еще больше законных

жен». Он мрачно пробормотал: «Ничтожество», имея в виду отнюдь не царя. Я ответил, что не могу согласиться. Литературная дискуссия едва не закончилась новой дракой.

Но дело было не в этих стычках, в сущности, ничего не значивших. Оно было в нашей несовместимости. Поистине всеобъемлющей, тканевой. Незримая пороховая масса отталкивала одного от другого. Нас раздражало друг в друге все, не только взгляды, любая мелочь — походка, привычки, даже голос.

Нас разделяло и то, в чем мы были несходны, и то, в чем, казалось, сходились. Обоим не сиделось на месте, обоих буквально сводили с ума низкие потолки наших комнат, темных и в самый солнечный день. Его и меня не отпускало даже на час, даже на миг, проклятье нашего отщепенства. Но он мечтал уничтожить мир, который обрек его на изгойство, а я — открыть этот мир и войти в него.

И был еще один водораздел, едва ли не главный и не решающий. Яков не только готов был стать, он и хотел стать частью силы. Я и не хотел и не мог. Второе было еще существенней. Способен ответить лишь

за себя. В действе, поставленном моим временем, я был согласен на монолог, не предусмотренный его фабулой и не написанный его автором. Даже спеленутый общей формой, пронумерованный, втиснутый в строй, я продолжал бы в любой ипостаси существовать сам по себе.

И тем не менее я и он вдруг оказались в одной среде — попали в круг молодых протестантов, уже готовых стать нелегалами. Якова вела его ярость, меня — все та же бессонная страсть. Только она и была моей сутью, сопровождала мой каждый шаг. Сегодня я хорошо понимаю: она и была моим спасением. Она помогла мне и устоять, и развязать клубок обстоятельств. Все они были против меня — от несвободы перемещения до внешности, не слишком задавшейся. Рост невысок, в волосах рыжизна, калибр не внушает доверия. Против меня было и то, что я не испытывал связи с семейством, был обделен приходящим на помощь клановым восточным инстинктом. Ветхозаветное чувство рода — можно тяготиться друг другом, жить рядом на грани взаимной ненависти и все же цепляться за этот призрак общности, единства и братства — было мне чуждо и непонятно.

Нет, не было и этой опоры. Я знал, что я один на Земле — от всех ее щедрот и богатств достались лишь стены и потолки, готовые меня раздавить, и допотопная машина, штампующая визитные карточки.

Однако не торопись, не злобствуй, не поноси картонную спесь. Именно этим смешным квадратикам чахлого кремового цвета обязан ты решительно всем — той встречей и переменной участи, неожиданным поворотом судьбы.

18 октября

Казалось, что сотни маленьких солнц горели у меня под ногами, вокруг меня, за мной, впереди. Всюду была та самая жизнь, тот самый луг в золотых цветах. Почти оглушая меня, трещали тучи шмелей, цикад и стрекоз — это захлебывались пулеметы. Где я? И я ли это бегу с криком на вражескую траншею? Как занесло меня под Аррас? Были ли когда-то Большая Покровка и граверная мастерская отца?

Однажды за визитными карточками пришел заказчик — то был господин, выглядевший весьма живописно. С добрым простонародным лицом плохо вязалась его внушительная черная широкополая шляпа. Из-под нее слегка выбивались спутанные гривастые пряди. Глаза запредельной голу-

бизны сияли над крупным утиным носом. В мужицких пальцах была зажата мощная суковатая палка, и он держал ее, как мотыгу, — было понятно: она нужна ему не для опоры — он и без палки прочно и крепко стоит на ногах.

Визитные карточки его ждали. Гость расплатился, быстрым движением отправил их в бездонный карман демисезонного пальто, однако же простился не сразу. Чем-то мы привлекли внимание. Со мной же и вовсе разговорился, стал спрашивать о всяких подробностях. Что он такого во мне увидел, что разглядел? Потом, повзрослев, я часто задумывался об этом и мысленно возвращался к минуте, так изменившей привычные будни, — хотел объяснить самому себе причину возникшего интереса.

Сначала я себя уговорил: случилось, потому что я ждал. Что-то должно было произойти. Я это знал. Вот и случилось. Но после мне стало уже недостаточно изображать из себя Бонапарта, который ждал своего Тулона. Пусть даже случай привел в наш дом всемирно известного писателя, высланного в тот самый город, где некогда он явился на свет. Что из того? Он мог преспокойно забрать свои карточки и удалиться.

Но что-то его остановило и почему-то он зачастил в эту нору на Большой Покровке. Каюсь, я однажды подумал: «Может быть, приглянулась сестра?» Версия была правомерной — Софья превратилась в красавицу. Но эта догадка не подтвердилась. И я убедился: дело во мне. Пронзительным охотничьим нюхом, природным в истинном литераторе, почуял он зверя своей породы и ощутил во мне ту же страсть, которая звенела и в нем.

Да, это пламя нас породнило. Быть может, он вспомнил себя самого, мечущегося в такой же темнице с теми же низкими потолками! Что бы то ни было, Горький и я встретились и нашли друг друга. Я постигал его весь мой век. Я понял, что он был не только автором собственной жизни — бесспорно, лучшей, самой своей вдохновенной книги, испорченной, к несчастью, финалом, — он был и читателем этой книги, ревниво следил за ее героем. Совсем как я, щенок, несмышленыш! Поистине радостное открытие.

То, что мы были люди страсти и думали о своей биографии, и привело нас в круг бунтарей. Но я увлеченно играл в революцию, а он был и впрямь ее трубным гласом,

и этот мятежный грохочущий глас так славно по-нижегородски окал! Моя набиравшая силу судьба переплелась с его судьбою — мы дважды оказались в тюрьме. Но я воспринимал и тюрьму как продолжение игры. Поэт Скиталец (Скитальцем он стал, естественно, в подражание Горькому) тогда еще принимал в ней участие и написал о том оперетту. Страшная, видно, была тюрьма. Впоследствии на своей фотографии наш Буревестник мне написал: «На добрую память о днях совместной веселой жизни! — И не без ухарства добавил: «За каменной стеной»».

Я полюбил его семью. И строгую Екатерину Павловну — сдержанность ей ничуть не мешала быть притягательным существом, причем притягательным по-женски! И маленького Максима, Максика, и новорожденную Катюшу. Я прислонился, прижался, присох, сам не пойму, как это вышло. Когда их выслали в Арзамас, я быстро последовал за ними.

Мое пребывание в революции, в движении — так тогда изъяснялись — теперь, конечно же, вызывает лишь сожаление и усмешку. Можно оправдать его тем, что самая яркая пропагандистка — такой считали ее

друзья, но кроме них еще и охранка — стала моею первой женщиной. Лидочка кончила гимназию (в отличие от ее соблазнителя), старше была на целых два года — в ее девятнадцатилетнем возрасте это бесспорное преимущество лишь добавляло неотражимости — к тому же была хороша собой. Помню ее суровый взгляд, требующий к себе уважения и тайно взывающий о защите, помню вороную копну, высокий лоб, стреловидные брови. И этот пленительный овал юного девичьего лица, спелые приоткрытые губы — то ли они сейчас исторгнут некий революционный призыв, то ли томятся о поцелуе.

Первая женщина! «Проба пера» — так говорил один стихотворец, свивавший лирические кружева. Но я был в ту пору значительно сдержанней, чем элегические поэты, и не расписывал свои бури. И все же отчетливо воскрешаю холод и жар, и подавленный страх, и первое погружение в омут, ту мою трогательную гордыню, когда я расстался с собственной девственностью и отнял ее у моей подруги.

Спустя десять лет я встретил девушку, ставшую моею женой. Я медленно произнес ее имя, оно было тем же, незабываемым.

«Лидия, — повторил я, — Лидия...» И снова — так близко, как будто рядом, с какой-то непостижимой резкостью увидел свою первую женщину. Отважное огненное создание, готовое сразиться с царем, со всей его армией и полицией, и не умевшую сопротивляться моим рукам и моим губам. И перед тем как проститься с нею, теперь окончательно, навсегда, подумал о ней с такой благодарностью, с такой испугавшей меня печалью, каких не испытывал уж давно.

То незабвенное помешательство само по себе могло бы скрасить мой усыпительный Арзамас с его бесчисленными церквами, с грачиными стаями на крестах, словно нависших над его улочками, с домишками в живописных наличниках, с его Ивановскими буграми, с крутым обрывом над тихой Тешей. Но еще больше кружила голову и поднимала в своих глазах близость совсем другого рода — я сознавал, что день ото дня связь моя с Горьким все крепче и крепче. Видно, и впрямь я чего-то стою, если он дал мне место в сердце. В те дни он дописывал свою пьесу, я видел его ежедневное счастье, прекрасную оглушенность трудом, из каждой строки вырастали, всходили, наращива-

ли кости и мясо новые странные существа, которых вчера и в помине не было. И сам он вставал из-за стола усталый и гордый тем, что выковал, что дал им жизнь, вдохнул в них душу. Он был так сердечен и ласков с нами, с женою, с детишками, со мной, даже с наемными соглядатаями — никто не мог омрачить его праздника. Его окрыляло сознание важности каждой минуты его усилий, предчувствие славы, всемирной славы, уже пересекавшей границы.

Бывало, взволнованный, размягченный, читал он нам свежие странички, все тягостней было хранить секрет, утаивать этих мужчин и женщин, они уже жили своею жизнью, стучались в двери, хотели выкрикнуть все то, что знают, выплеснуть в мир тоску, надежду, недоумение. Иной раз и я читал их реплики, старался представить себя одним из этих выброшенных на свалку, отверженных, выплюнутых людей. Он изумлялся: «Ах, постреленок, слушай, да у тебя талант».

Однажды явился гость из Москвы. Владимир Иванович Немирович-Данченко. Директор Художественного театра. Плотный. Такого же роста, как я. Единственное, что было сходного. То был человек с другой планеты.

Спокойный. Холодноватый. Корректный. Корректность предполагала дистанцию меж ним и остальным человечеством. В каждом движении — основателен. В тоне, в улыбке, во всей повадке — уверенность в собственном всеведении.

Впоследствии мне довелось прочесть, что сильно преуспевшие люди, любимцы толпы, ее наставники, страдали этой смешной болезнью — эпически уважали себя. Тут чемпионом был Томас Манн. Пожалуй, и Поль Валери при желании мог бы оспаривать его первенство. Можно припомнить еще немало столь же блистательных олимпийцев. Должен сознаться, что в скором времени и мой Алексей подхватил инфекцию. Однако у него эти приступы были по-своему даже милы. «Чем бы ни тешилось дитя», — мысленно говорил я себе, видя, как он надувает щеки. С ним это, в общем, случалось нечасто. И трудно было не ошалеть от почитания, от известности, невиданного, какого-то даже религиозного поклонения, свалившихся на его бедную голову. Я видел, как люди из плоти и мяса вдруг подпадали под власть легенд, которые либо были им навязаны, либо самими сочинены, и после — старались им соответствовать.

В их повседневном существовании всегда присутствовала игра, чаще всего небезобидная — актерство в жизни весьма опасно. Владимир Ульянов изображал то демократа, то гуманиста, защитника малых и неразумных. В духе традиции. Кто только не был «другом народа»? Даже Марат. Яков, мой брат, играл в бессребреника и постепенно врос в этот образ.

Я с детства не выносил притворщиков. Мне трудно было бы вообразить, что дипломатия станет однажды едва ли не главным моим занятием. Однако я не был чужд игре, не зря же тогда мечтал о театре. С приездом Немировича-Данченко я связывал большие надежды.

Вот почему — хватило сметки сразу понять эту уловку — к чтению своей новой пьесы автор ее привлек и меня. Он поручил мне одну из ролей, причем — ответственную — роль Пепла, лихого парня, вора, любовника. Какое из этих достойных свойств он разглядел и во мне? Не ведаю. Хотелось бы думать, что друга женщин.

Хотя необходимая сдержанность входила в непререкаемый кодекс отлично воспитанного человека, Владимир Иванович был взволнован. Воссозданная Горьким ночлеж-

ка его проняла — он обнял автора, прежде чем изложил впечатления. Его замечания были краткими — угадывался профессионал. Запомнилось, как легко и точно усовершенствовал он название. «Нет, «На дне жизни» — литературно, не отвечает, если хотите, жестокости вашего материала, вы тут... форсируете звук... некоторый нажим, поверьте. Просто «На дне» — так будет лучше». И в самом деле, так было лучше.

Что же касается меня, то он благодушно согласился: да, безусловно — есть способности. Юноше следует учиться. Нужно переезжать в Москву.

21 ОКТЯБРЯ

С этим напутствием он и отбыл, а я остался. В полной растерянности. Легко сказать — переехать в Москву. Людям с таким племенным клеймом в древней столице нечего делать. Их место — в отведенной конюшне. Горький задумался и сказал: «Выхода нет — надо креститься».

Да, надо. Что ж делать? Надо так надо. Тем более, в юношеские дни я слабо чувствовал связь с иудаизмом, дрожь национального пафоса не было во мне и в помине. Когда мой отец меня спросил: трудно ль дается прощание с верой, мне было непросто ему сказать, что, в сущности, нет самого прощания. Разве же я когда-нибудь верил? Разве я стал христианином после того, как был окроплен? Мое еврейство во мне осталось не в тайной связи

с утрюмым Богом, оно продлилось в неутоленности, в моей одержимости, в моей страсти, которая приводит в движение несбыточные детские сны.

Вам нужно, чтоб я крестился? Извольте. Не буду ни первым, ни последним, кто перейдет этот Рубикон. Гейне назвал свое крещение входным билетом, чтобы вступить в храм европейской культуры — неплохо! Немного звонко, но очень метко. Нет, не проникнуть, не проскочить по недосмотру контролеров — вступить, не таясь, войти по праву. Ну что же, он занял в ней свое место. Ему не смогла в этом помешать даже семитская ирония. Теперь и мне предстоит совершить похожий подвиг в русской культуре. История приходит на помощь, подсказывает мне имена, вполне вдохновительные примеры.

Право же, есть на что опереться! Шафиров крестился и прогремел на все восемнадцатое столетие — Россия может быть благодарна такому сподвижнику Петра.

Крестился Перетс — кто станет спорить, что то был финансовый мозг России?

Пьеса крещеного Неваховича, рожденного в захолустном Шклове, жившего в Питере без дозволения, нашедшего приют в лю-

теранстве, пожала самый заметный успех на русской императорской сцене.

И это — в столь давние времена! В словесности еще не было Пушкина! В сословном иерархическом обществе! И вот же — пробились, вошли в Пантеон.

Так я подбадривал себя в ночные часы — при свете дня я уже вряд ли бы находил некую связь меж собой и титанами. И все же — мы все из единого семени!

Странное дело! Ни мать, ни отец, ни сестры, а Яков, мой брат-погодок, болезненно принял мое решение. Впервые я так ощутил, сколь сильна, сколь выстрадана его неприязнь. Он начал с того, что он атеист и должен, казалось бы, отнестись к этому шагу вполне равнодушно. Но вот — не может. Никак не может. Шаг этот для него означает, что я веду игру по их правилам. Теперь ему окончательно ясно, что все их условия мною приняты, что я избрал накатанный путь, жить буду применительно к подлости сложившейся враждебной среды.

Потом осведомился с усмешкой: коль скоро я собрался в Москву учиться кривляться на подмостках, как я себе представляю в дальнейшем свою революционную деятельность?

Я мог ответить ему по сути. Сказать, что я уже четко понял, что нелегальщина — не по мне. Она органически мне чужда, и я уже ощутил своей кожей: в душном и затхлом мире подполья не столько расцветают достоинства, сколько оттачиваются пороки — темная жизнь ущербной души, которая требует сатисфакции у целого мира, взывает к мести за неудачу и поражение. Я это понял и содрогнулся.

Мог бы сказать еще и о том, что изумили меня пропорции, которые я обнаружил в движении. На одного идеалиста приходится несколько дикарей, готовых на самосуд, на убийство, на самую явную уголовщину. А на одну незабвенную Лидочку с ее мечтой о всеобщем счастье — несколько пламенных истеричек.

Мог бы сказать, что мозги мне прочистила еще и тюрьма, где сидел я дважды. Там мне внезапно явилась мысль: «Если когда-нибудь возобладают знакомые мне свободолюбцы и уж тем более братец Яков с его опустошительной злобой, не те возведут они казематы. Поэт Скиталец не станет строчить свои оперетты о жизни узников, писатель Горький не назовет ее «веселой», как в за-

лихватской надписи, начертанной на своей фотографии».

И был ли я в самом деле братом — не только Якову — всем этим людям, был ли я в их кругу своим? Случалось ловить и косые взгляды своих товарищей-пролетариев, случалось ощутить холодок, который меня болезненно ранил. В юности я был скверно устроен — незащищен и уязвим. Хватало и тягостных открытий, когда я отчетливо сознавал, что этим борцам за равенство наций претят мои семитские корни.

Многое мог я ему сказать. Но я уже знал: все споры бессмысленны, любые аргументы бессильны. И я ограничился краткой репликой: самоутвердиться — не жить. Естественная, несочиненная жизнь возможна только в прямом согласии с твоей натурой, с твоей природой. Видимо, я рожден на свет не для того, чтоб послушно следовать распоряжениям вожаков и фанатических теоретиков. Моя несознательная личность требует от меня свободы в моих влечениях и поступках. Поэтому я еду в Москву.

На том и расстались. Потом я узнал, что вскоре, при каком-то допросе, он утаил, что я его брат. Ибо — не считал меня братом. Раз навсегда отрубил, отрекся.

Итак, становлюсь христианином. Я понимал, что мне придется труднее, чем другим неوفитам. Полиции я хорошо известен, мои вызывающие выходки, моя мальчишеская бравада могут мне дорого отозваться. Того же мнения был и Горький.

И объявил, что с этого дня законно меня усыновляет. Я буду не просто приемным сыном, я буду носить его фамилию. Крестит меня отец Федор Владимирский, которого он глубоко уважает за неподдельное благородство и деятельное сочувствие к людям. Удача еще раз мне улыбнулась.

Последний день сентября оказался последним днем моего иудейства. Святое таинство совершилось. Ешуга Заломона Свердлова не стало — явился Зиновий Пешков.

22 ОКТЯБРЯ

...В ту же секунду я ощутил, что некая железная сила, какая-то огненная клешня, рвет из плеча правую руку, падающую бессильно, как плеть. Глаза мои заливало потом, стекавшим со лба, скрипя зубами, левой рукой достал я нож. Старый складной перочинный нож. Разрезал ремни и побрел назад, придерживая мою страдалицу. Вот когда в полной мере понадобится Христово терпение на Голгофе. Всю эту дюжину лет я прожил, совсем не задумываясь о нем.

Всего через год я убедился, насколько я прав был в своем предчувствии — Святейший синод, согласуясь с указом Его Императорского Величества, строжайше повелел консистории вернуть мне отцовскую фамилию. Мой Алексей выходил из себя: «Нет у хозя-

ина Русской земли иных забот, кроме этой, главной: как раскрестить молодого парня!» Но дело, едва начавшись, застопорилось, а там и вовсе сошло на нет. Наше отечество захлестывали более важные заботы — вскорости стало не до меня.

Но я с той поры зарубил на носу: моя православная отчизна ничуть не грустит о заблудшей овечке, о том, как вывести поскорее бедную душу на истинный путь. И много позже, когда я слышал многоречивые рассуждения о благотворности ассимиляции, ее безусловной необходимости, я неприметно гасил улыбку. Никто не сделал больше меня, чтоб слиться с Францией воедино, но я и поныне не убежден, что Франция этого так хотела. А впрочем, что о том толковать — игра моя сыграна, путь мой пройден.

Горький теперь называл меня сыном, и делал это он с удовольствием. Я обращался к нему по имени — так захотел он, так повелось. «Где ты, сынок? — «Я здесь, Алексей». И мне было нужно, чтоб лишний раз он убедился — я здесь, я рядом, приду к нему по первому зову.

Он оставался в Арзамасе вплоть до начала сентября, потом он вернулся в Ниж-

ний Новгород, а в декабре уже был в Москве. В ней пережил он свой звездный час, непостижимый успех премьеры. «Самый большой, — писал Немирович, — какой был когда-либо у драматурга». Что ж, кто — на дне, кто — на вершине. Невероятная биография раскручивалась с утроенной мощностью. Казалось, из пушечного чрева вылетел в этот мир снаряд, готовый разнести его в клочья.

В эти полубезумные дни мы наконец воссоединились. И оба тогда пребывали в сходном ошеломительном состоянии. Его и меня маленько укачивало — как будто земля пустилась в пляс. Он сладко хмелел от объятий славы, я — от свидания с Первопрестольной.

То была первая столица, с которой я вступил в поединок — еще не в одной мне предстояло не проиграть, не затеряться и доказать свою устойчивость. Забавное противостоянье! Я полюбил осажденную крепость. Так любят неприступную женщину.

Я познавал ее каждый час. Ее фасады. Ее закоулки. Ее расстоянья и тупики. Я постигал ее секреты. Темную, невнятную тайну ее непричесанного очарованья. Пеструю вязь ее дворов. Ее деревенские

палисадники. Разноголосицу ее вывесок. Трамвайный звон. Перемену красок. Белое утро, сереющий день, сумеречные блики заката. Больше всего я любил вечера с их оживающими фонарями и обещаьем заветной встречи. Шалое, непутевое время! Желтые огоньки Москвы не обманули моих ожиданий.

А вот дела мои шли не бойко. Я должен был доказать отцу, что сам по себе чего-то стою, способен пробиться без покровителей. Но доказать не удавалось. На курсы в училище я не попал, письмо мое великому Ленскому, первой звезде императорской сцены, так и осталось безответным. Эта досадная неудача значила то, что я не вправе рассчитывать на отсрочку от армии. Кончилось тем, что я был принят в школу Художественного театра. И то, что для каждого стало бы счастьем, меня поначалу не слишком обрадовало. Я понимал, чему я обязан своей невероятной удачей — сын Горького, знаком Немировичу. Мое самолюбие страдало. Не так я мечтал приручить Москву.

Но постепенно я успокоился, уговорил себя, убедил: все еще у меня впереди, еще представится мне возможность проверить

себя, испытать свои силы. Пока же старался увидеть грань, странную, невесомую грань, между почтенной актерской профессией и непонятной актерской волшбой. Я радостно выходил в толпе на эти прославленные подмостки, а в пьесе «На дне», родство с которой я не без гордости ощущал, участвовал в важной мизансцене — поддерживал гневную Василису, готовую эффектно упасть.

Так было в спектаклях, в обыденной жизни я не удерживал от падений барышень, имевших к ним склонность. «Сынок, — остерегал Алексей, покачивая большой головой, покашливая и глядя усы, — не надорвись. Всех ягод не съешь».

Но было ему не до меня. В жизни самого Алексея возникла женщина — и какая! Мария Федоровна Андреева — одна из первых красавиц театра, нет, попросту первая, недосыгаемая! Великокняжеская посадка прелестной головки. Гибкость тигрицы. Взгляд сверху вниз на все человечество. И прежде всего — на слабейшую часть его. Имею в виду обреченных мужчин.

Мой триумфатор был сокрушен, а кроме того, он втайне нуждался в столь ярком свидетельстве триумфа, хотя никогда бы в том не сознался.

Так появилась первая трещинка. Крохотная, едва заметная. Но отношения что стекло — всякая трещинка разрушительна. А я был зелен, мне не хватало ни снисхожденности, ни мудрости, ни даже простого великодушия. К тому же я успел привязаться к достойнейшей Екатерине Павловне, к Максиму — он и впрямь стал мне братом — и даже к недавно рожденной девочке.

Да я и сам предъявлял права — во мне клубилось ревнивое чувство. Я был готов делить Алексея с его семьей, но не с новой женщиной, не с этой беззаконной кометой. А он изменил, изменил нам всем. Его состояние было похоже на помешательство — он ослеп, он оглушен и не слишком терзается, ни в чем не винит себя. Непостижимо...

Да, нечто близкое к невменяемости. Позднее сравнительно легко он перенес и смерть дочурки. В ту пору я еще не понимал, как можно так помрачиться разумом — пусть даже из-за такой богини. Меж тем не мне бы его клеймить. Он был таким же заложником страсти, каким был и я, — но гораздо зависимей от этой жестокой горячки.

Я был уверен, что я ничем не обнаружил своих настроений, хотя, как правило, не таил своих пристрастий и антипатий, скрывать их казалось мне унижительным. Естественно, годы и обстоятельства, профессиональные обязанности в конце концов меня обуздали, но лет на это ушло немало.

Я очень старался следить за собою, однако те двое легко улавливали даже едва заметную фальшь. Прекрасная Дама достаточно быстро дала мне почувствовать, что не числит меня среди тех, кто стал ее другом. Я ощутил, что я — в немилости.

Нет, ничего не произошло. О, ничего, ничего, что хоть чем-то не отвечало бы этой выдержке, этой посадке головы, царственной поступи генеральши.

Впрочем, она и была генеральшей, женой преуспевшего сановника. Ей лишь в театре не удалось занять привычного положения — там властвовали другие дамы. Тем энергичней и азартней она вживалась в другую роль. Из пьесы «Да здравствует Революция!». Супруга генерала Желябужского, любовница миллионера Морозова, теперь она стала гражданской женой насмерть сраженного Буревестника и призывала простой народ

обрушить неправый господский мир с его опостылевшей рафинированностью.

Она была не единственной жрицей у алтаря священной борьбы. Таких примечательных вольнолюбцев среди процветающих либералов хватало, как говорится, с избытком. Актер императорского театра, красивый и удачливый Ходотов, частенько появлялся в концертах и под аккорды аккомпаниатора требовал от восторженной публики стать зодчими лучезарного будущего. Его снисходительно называли «социалистом Его Величества», но провожали рукоплесканьями.

Похоже, подобная декламация то под гитару, то под рояль, а после под радостный рев толпы действует наркотически властно. Я и поныне в свободный час, листая память и воскрешая десятки артистов, присяжных поверенных, провинциальных златоустов и профессиональных трибунов, все еще не могу постичь причины этой неистребимой интеллигентской лихоманки, уничтожавшей двадцатый век. Она бушевала не только в России, исходно приговоренной к страданию, не только среди помраченных голов, воспламененных своей агрессией, но и в благополучной Европе с ее аристократическим скепсисом.

Беда тут не в одних дурачках из комнат с низкими потолками, из темных загаженных подворотен с их жаждой успеха, с идеей реванша, с рожденья поселившейся в лимфах. Я говорю о высоколобых, о тех, кто подчинял наши души и переворачивал мысли.

Откуда явилась им эта вера, что есть, что может быть справедливость, которой по силам умерить зависть? Что двигало ими? Больная совесть, о коей кричали на всех углах? Или их скорбное «чувство вины», такое избранническое, возвышенное, почти обязательное в списке достоинств нашего мыслящего тростника?

Но почему, почему это чистое, высокое парение духа чуждалось повседневной работы, негромких трудов, неприметных усилий? Зачем ему требовались ристалища, сияние люстр, овации толп и яростный свет прожекторов? Неужто и вправду наши наставники и самозванные вожаки не ощущали своей ущербности? Казалось бы, нескольких тысячелетий с их грозным чередованием эпох, всегда одинаково трагических либо беременных трагедией, вполне достаточно, чтобы понять: править грядущ-

щим не в наших возможностях. Обделены и силой и разумом. Мы не умеем прожить достойно свой краткий срок на этой Земле. Не испоганив, не разорив места, назначенного для жизни. Но — поколение за поколением — пестуем мы свое простодушие, свои заблуждения, свою жертвенность, самонадеянное стремление думать за тех, кто придет нам вслед.

Мой президент, мой Гиз Лотарингский, мудрей и проницательней многих. Я благодарен ему за то, что, зная его десятки лет, я не сумел в нем разочароваться. Он обладает ясным умом. Поэтому он сказал однажды, что вовсе не нужно решать проблем, с проблемами попросту надо жить. Достойная восхищения трезвость. Но даже и он не устает произносить свои заклинанья о миссии Франции, о ее роли, о неременном ее величии. *Grandeur, grandeur* — сакральное слово!

Я понимал, что ночная кукушка перекукует, возобладает, будет всегда безраздельно правой. Два или три небрежных слова, две полужалобы-полувздоха в антракте между любовными судорогами — и я утрачу любовь человека, который и впрямь мне стал

отцом. Я мучился, я не знал что делать. Неужто такое может случиться? И я не услышу: «Где ты, сынок?» Не отзовусь с волнением, с нежностью: «Я здесь, Алексей». Нет, невозможно.

Но тут в мою воробьиную жизнь вмешалась чужая бездушная воля. Кому она принадлежала? Времени? Истории? Дьяволу? Или все будничней — кучке напыщенных остолопов, решившихся власть употребить? А власти у них было немерено. Забились в истерику барабаны, запели трубы, заговорила вослед им тяжелая артиллерия. Война, господа. Растопчем раскосых.

Я знал, что литая рука державы скоро возьмет меня за ворот. Как быть? Я колебался недолго. Холодно рассудил: не дам-ся. Причина была не в жалкой трусости. Промчался еще десяток лет, и я с удивлением сделал открытие: война — мое истинное призвание. Но в некое ужасное утро проснуться в отечественной казарме? Но — стать предметом? Подстилкой? Шваброй? Зависеть от взгляда любого унтера? И запретить самому себе чувствовать, думать, видеть и слышать? Нет, лучше сдохнуть. Нет, никогда.

Скажи мне, отец, куда податься? Направо — беда, налево — дыба. Прямо? Там тоже свой Змей Горыныч. Есть ли мне угол на белом свете? Есть ли мне место? Скажи, наставь.

Отец был немногословен и пасмурен. «Сынок, нет резона сложить свою голову за эту шайку. Бездарный выбор. Война эта — не твоя. Уезжай».

23 ОКТЯБРЯ

...Почти километр без перевязки, держа на весу полумертвую руку. После короткого привала — еще четыре — и все пешком. Кровь из руки сперва хлестала, потом вытекала, как будто нехотя, как будто она со мной прощалась.

«А где-то там, на севере, в Париже...» Да, верно! В сырой и враждебный вечер в нахолившемся беззащитном городе и впрямь дохнуло далеким Севером. Лишь Пушкин с его абиссинской кожей так чувствовал! Иначе бы с губ его вдрут не слетела такая строка.

Это Морис Шевалье внушал нам десятки лет надтреснутым голосом, что славный Париж — всегда Париж. Нет. Не всегда. Не в осенний сумрак, не в этот тоскливый, как старость, дождь. Париж обретает

себя в тот миг, когда фиолетовое небо вновь повисает в минуты заката над отряхнувшими дрему улицами, суля возвращение весны. Что из того, что еще февраль? Она уже здесь, глотните ветра. Взгляните на женщин — удостоверьтесь!

А нынче, когда так просит тепла моя арамейская порода, душа отделяется от тела. Снова и снова листаешь память, чтобы реанимировать жизнь.

«Куда ж нам плыть?» — так спрашивал Пушкин. А я, в девятьсот четвертом, не спрашивал. Куда ж? А туда ж. Куда ж еще? Все той же Большой Эмигрантской Дорогой. Подальше от родины. В Новый Свет.

Смелее, дружок — вот она, жизнь, которую ты так жадно любишь, которую ты хочешь, как женщину. Познай ее, не страшись страдать. Не сомневайся, она твоя — какая ни есть, со всем ее трепетом, соблазном, вероломством, засадами. Штурмуй эту грешницу-недотрогу и подчини, покори, овладей. А если вдруг упадешь — вставай. Иначе — она сожрет с потрохами. Иначе — только тебя и видели. Смелее! И тверди, как молитву: не сгинуть. Не пропасть. Не сломаться. Что бы с тобой ни стряслось — не хнычь. Хуже Большой Покровки не будет.

Путь мой лежал через Швейцарию. Вот она, вольная Гельвеция! Милая спящая красавица. Вот она, умница-разумница, производящая и выдающая добротное европейское счастье в опрятной аптекарской упаковке. Но я понимал, какой ценой, каким бессонным трудом поколений оплачены этот уют и покой. О, нет, мы скроены по-другому — нам подавай все и сейчас.

Здесь жили Екатерина Павловна и дети — перед долгой разлукой мне захотелось на них взглянуть. После великолепной гранд-дамы, так артистически сочетавшей действия Художественного театра с театром революционных действий, было особенным наслаждением видеть лицо, любезное сердцу, естественное в любой своей черточке, слышать ее задушевный голос. Мне было грустно проститься с нею, с Максимом, со щебетуньей-малышкой. Бедную смешливую Катеньку видел тогда я в последний раз — кто знал, что срок ее будет так краток?

И скоро под моими ногами была уже не прочная твердь, не тихое лоно Вильгельма Телля, под ними свободно ходила палуба громадного мрачного корабля — огонь в его топке, казалось, подпитывался

не столько равнодушным углем, сколько надеждами пассажиров. И я был такой же частицей исхода, одним из барашков этого стада. Здесь, ограниченные бортами и грозным безмолвием океана, все мы — и каждый из нас — утратили свою особость, свою отдельность, стали людьми одной судьбы. Куда-то везут и где-то высадят, если до этого не потонем.

Не знаю, кто чувствовал сходно со мною, да я и не стремился узнать. Я молча, непримиримо пестовал врожденную неприязнь к толпе, свою отчужденность и сепаратность.

Возможно, из глухого протеста, из неосознанной скрытой потребности отмежеваться от общей массы я выбрал Канаду, а не Америку. О да, тут был и выбор, и вызов. Я еду не в новый Вавилон, не на смотрины ловцов удачи, не на многоголосое торжище. Еду в пустынный морозный мир, похожий на мою снежную землю, в которой не нашел своей доли. А здесь я найду ее непременно. Это страна первопроходцев, страна мужчин — на этих просторах ты существуешь сам по себе.

Ну что же, ты хотел независимости? Ты получил ее полной мерой. С первого вече-

ра в Торонто был предоставлен себе самому. Хотел доказать, что чего-то стоишь, что не намерен пропасть бесследно? Доказывай, и Бог тебе в помощь! Поныне не хочется воскрешать это жестокое пестрое время. Самое тяжкое одиночество — то, что томит тебя в муравейнике, — его-то пришлось хлебнуть с избытком.

Была бессмысленная работа на крохотной меховой фабричонке. И еще более бессмысленная в одной подвернувшейся типографии. Стоило бросить Большую Покровку, чтобы опять дышать свинцом, парами кислот и медной пылью! Но дальше меня поджидала прачечная. И вновь мне представился отчий город и голоногие слобожанки с подолами, задранными до бедер, их круглые склоненные спины и мощные грушевидные груди, почти уходившие в мыльную воду, плескавшуюся в серых лоханях. Похоже, что я и сам очутился у старого треснувшего корыта!

Не диво ли, что ожившая память оказывается такою дыбой? Какое пыточное занятие — перебирать свои неудачи, свои изнурительные усилия пробиться сквозь чужую броню? Как убедить в своей достаточности, в своей способности и готовности пре-

одолеть любые горы? Всмотритесь в меня, я тот, кто вам нужен. Я буду полезен — не сомневайтесь! Увидите сами — но дайте мне шанс!

Чем больше стараешься приглянуться, тем это менее удается. Столь же постыдно, сколь и бесплодно, — люди, как правило, глухи и слепы.

Поистине — испытать унижение легче, чем о нем вспоминать. Удар бича — он, как ожог. Быстрая боль быстро проходит. Но если неспешно, миг за мигом, переживаешь былой позор, она становится невыносимой. Старый рубец набухает вновь неисцеленной густой обидой.

Естественно, я предпочел бродяжничество. Вместе с одним моим земляком, устав от безнадежных попыток найти подходящую работенку, мы дважды обошли материк.

В те дни мы вдоволь хлебнули Севера. Он навсегда продул наши легкие, и я за малым не задохнулся от этой арктической струи. Ни увлеченье морозостойкими авантюристами Джека Лондона, ни грозные образы русской зимы уже не помогли нам больше. Хотелось тепла, хотелось дома, почувствовать под ногами почву не как дорогу, а как пристанище.

Так, может быть, мы ищем жар-птицу не там, где она обычно летает? Все, наделенные энергией, не огибающие жизни, расставшиеся со страхом люди находят фортуна свою в сопредельной великой стране равных возможностей. И вот решились — в пасхальные праздники мы через озеро Эри сумели переправиться в Штаты.

Как тяжело нам дались, Америка, твои гудящие города, твое бесстрастное многоэтажье! Как равнодушно и беспощадно обрушилась ты камнем и сталью на наши бесприютные головы. Мой спутник по складу своей души и в малой мере не относился к тем фанатическим мазохистам, которые готовы поджариваться в урбанистическом аду. При этом — воркуя от наслаждения. Он прививал мне любовь к отшельничеству, к лесу, к природе, к ее тишине. Какое-то время я увлеченно изображал анахорета, тем более вдруг повлекло к перу. Мне захотелось запечатлеть свои метания и кочевья, а это требовало уединения.

Не странно ли? Я почти повторял судьбу моего второго отца. Подобно ему, ушел я в люди, подобно ему, потянуло к странничеству, подобно ему — с грехом пополам — прошел я свои университеты. И вот, подоб-

но ему, ощутил присутствие дьявола литературы. Едва ли такая сходность случайна, меж нами и впрямь возникло родство!

Однако писателем я не стал. Довольно легко сумел укротить это опасное наваждение. Я не умножил собою армии (впрочем, она неисчислима) несчастных, которые добровольно приклеились к письменному столу. Бесспорно, я испытал удовольствие, увидев, как рукопись стала книгой, — судьба мне доставила эту радость, — но зуд графоманства не был так мощен, чтоб я не сумел его одолеть. Я предпочел стать героем сюжета, нежели только его творцом. Не спору, словесность — мужское дело, возможно — одно из самых мужских. Я — сын Алексея, и это знаю. Но если ты избираешь каторгу, ты просто обязан ее обожать. Меня ожидала совсем иная.

25 ОКТЯБРЯ

И вдруг я понял, что это конец. «Черт побери, я умираю. Так вот, как все это происходит. Больше не будет ни этого луга, ни этой запекшейся земли, ни красного неба над головой...»

Я устоял. Овладел языком. Я укоренился в Нью-Йорке. И в процветающей типографии (вновь типография — наваждение!) сумел оттеснить других претендентов. Я сдал экзамен этому городу, привыкшему пожирать мечтателей. Но он запросил немалую цену. Стань недоверчивей, суше, жестче. Поглубже припрячь свою чувствительность. Не вздумай церемониться с женщинами, им церемонии не по вкусу. Когда-то Алексей поучал: «Женщину необходимо беречь. Надо уважать ее волю». Теперь-то я знал, что женскую волю не следу-

ет принимать всерьез. Когда вы послушно ее уважаете, женщина уходит к тому, кто этой воли не уважает. Стоило позже, в Адирондаке, забыть об этом, и в жизни моей случился вулканический взрыв.

У этого взрыва было имя. И не одно — Грейс Латимор Джонс. Весьма эксцентричное существо — учительница из Чикаго. Как видно, мне очень уж захотелось стать первым учеником, ибо вскорости мисс Джонс оказалась моей невестой. История длилась довольно долго.

Все это приключилось впоследствии, в доме у Мартинов, в лесу, неподалеку от Элизабеттауна, а также — от границы с Канадой. Эту границу я пересек всего только в прошлом году — без денег и под другой, сочиненной фамилией. Новая жизнь меня захлестнула с какой-то оглушительной щедростью переживаньями и событиями.

Главнейшее случилось весной. Двадцать восьмого марта, в полдень, на корабле «Кайзер Фридрих-Вильгельм» в город Нью-Йорк приплыл Алексей. В тот день ему стукнуло тридцать восемь — совсем немного, до сорока мужчину можно считать молодым, — но уже весь переполненный мир, занятый вечной своей круговертью, обычно

незрячий и равнодушный, знал и повторял его имя. Чтобы пробиться к нему, мне понадобилось прорваться сквозь потную толчею корреспондентов и репортеров — зубастых взмыленных наглецов. Но я уже научился расталкивать, умело орудовать локтями — Нью-Йорк меня этому научил. Я продирался к Алексею со всей моей ненавистью к толпе, со всей затопившей меня любовью к тому, кого я назвал отцом.

В тот миг, когда я прижался щекой к его груди, когда целовал, заглядывал в его глаза, которые сразу же увлажнились, я понял, как он мне близок, как нужен и как пуста без него моя жизнь. Пусть она деятельна, пусть напориста, но как несущественна, как незначительна!

Их было трое. Кроме Андреевой, один господин — Николай Евгеньевич. Горький приехал за сбором средств для передового движения. Ему надлежало собрать налог с собственной славы — в Новом Свете слава имела твердую цену. Поэтому передовое движение следило, чтоб добровольный мытарь действовал строго в его интересах. Движение сочло недостаточным иметь в наблюдателях только жену, тем более «жена есть жена», как сказано у покойного Чехо-

ва, за женами нужен глаз да глаз. В помощь ей был придан Буренин. Он оказался вполне приятным, легким в общении человеком, но помнил о том, зачем он прибыл.

Лет пять спустя, под небом Италии, я окончательно убедился, что это движение крайне прожорливо. Я заходился от возмущения, я клокотал от бессильной ярости, видя, как наши идеалисты неумоимо доят Алексея. Естественно, не его одного. Они безошибочно находили весьма состоятельных филантропов. Вот так же эти славные люди почти разорили Савву Морозова. Не только ободрали как липку. По мере сил своих поспособствовали его помешательству и суициду.

С самого первого мгновенья я безошибочно ощутил: мой обретенный вновь Алексей чувствует то же, что чувствую я. И если я обнимаю отца, то он сейчас обнимает сына. Он не хотел со мной расставаться, уже завтра после приезда на званом обеде он усадил меня рядом с собой, по правую руку. Так было и дальше — мне даже казалось, что без меня ему неуютно.

Вначале были встречи с писателями. Сперва с Марком Твенем, потом — с Уэллсом. Марк Твен Алексею понравился сра-

зу. Мне — тоже. Он не мог не понравиться. Высокий, плечистый, широкогрудый, беловолосый и белоусый, в белом пластроне с белой бабочкой под черным смокингом — в этом наряде он выглядел несколько официально, и, кажется, это его сместило. Улыбка была лукавой, но грустной. Такой, какая почти неизбежна у настоящего юмориста. Я знал, что он вдов и, хотя покойница теснила его своим благочестием, он тяжело переносил одиночество. Знакомясь, он меня оглядел мудрыми выцветшими глазами сильно уставшего Тома Сойера. Впоследствии я не раз вспоминал этот совиный всеведущий взгляд — я не ошибся, он не был счастлив. Все то же — ни поклонение Америки, ни эта ее простодушная гордость своим неумным озорником были бессильны перед безжалостным, стремительным убыванием дней. В тот день я впервые подумал о странной и неизбежной закономерности: чем ярче жизнь, тем горше старость.

Уэллса Алексей невлюбил, по-моему, сразу — меж тем еще долго играли они в высокую дружбу. Так полагалось: власти-тели дум, парящие на духовных вершинах, должны испытывать только приязнь, есте-

ственное влечение друг к другу. Они окликают один другого, ибо им больше общаться не с кем.

Эта возвышенная игра дорого обошлась Алексею. В голодном, продутом насквозь Петрограде провидец в клетчатом пиджаке провел в его доме две недели — отсутствовал он всего два дня, ездил в Москву побеседовать с Лениным о будущем «России во мгле».

Когда британский пророк вернулся, он выглядел еще более мрачным. Впрочем, он никогда не скрывал презрения к миру, где вынужден жить, и к людям, которые в нем барахтаются, — оно было накрепко отпечатано на круглом, всегда недовольном лице. Недаром предсмертное обращение к несовершенному человечеству звучало исчерпывающе: «Будьте вы прокляты! Я вас предупреждал». Вот так-то. Он вас предупреждал, недоноски.

Однако до прощания с космосом ему предстояло жить еще долго — сорок весьма насыщенных лет. Намного дольше, чем Алексею. И судьбы их вновь пересеклись. В те стылые петроградские дни сам Алексей и свел его с женщиной, которая была светом в окне. Если б он знал, что гость и собрат

ее уведет и обесмыслит все его последние годы! Правда, последняя жирная точка была поставлена лет через десять, когда мой отец вернулся в Москву.

Поныне мне больно об этом думать и сознавать, как был он несчастен, прежде чем завершил свое странствие. Так хочется его защитить, прикрыть собой от людей, от рока. Он-то всегда приходил на выручку, мог взбудоражить, мог остеречь.

Вдруг вспоминаешь: тогда, в Нью-Йорке, узнав, что я пробую литераторствовать, он оживился: доброе дело. Но необходима среда. Какое-то время совсем невредно пожить с писателями бок о бок. Они, конечно, бывают всякие. Есть те, кого лучше знать по книгам. Не ближе. Ибо встречаются сволочи.

СвОлОчи. Как меня убажало его нижегородское оканье! Любил я в нем решительно все. Его привычку постукивать пальцами, тягу к кострам, его покашливанье, даже легко закипавшие слезы, о них вспоминали при каждой возможности. Все было мне мило, все стало родным, рождало беспричинную нежность. Иной раз казалось, что в этом союзе я — старший, отец, гордящийся сыном.

Я ощутил перемену ролей, когда целомудренная Америка закрыла перед ним и Андреевой свои непорочные отели. Газеты стонали от возмущения. Пока оставленная жена томится с брошенными малютками, он путешествует с любовницей. Позор! Никто не подаст руки столь бессердечному сластолюбцу.

Эти припадки копеечной нравственности, бьющаяся в падучей мораль, громopodobная и фарисейская, рождали во мне горючую смесь из острой тоски, омерзения, боли. Переживал я ту вакханалию еще острее, чем Алексей. Страдал за него и краснел за Америку. Я словно отвечал за нее! Странное свойство, — прожив два года, вчерашний гость, я уже испытывал это хозяйское чувство туземца. Я точно прирастал к новой почве, точно спешил породниться с нею.

О, сколько же раз я болел и страдал за новоявленное отечество! Поистине, непонятная участь. Благо всегда хватало в избытке поводов для стыда и боли. Терзался из-за своей России, из-за Канады, из-за Америки. Из-за Италии. Из-за Франции. Повсюду — больший католик, чем папа.

Я сделал все, чтоб найти приют. Мы обрели его в Адирондаке, у Мартинов, в их лесной твердыне. В ней было тихо и благодатно, мы жили вдали от суеты, от воя разоренных пуристов, от борзописцев и от поклонников. Великий труженик Алексей исписывал белые листы своим каллиграфическим почерком, при этом неизменно вступая в свои особые отношения со строгими знаками препинания. Была система фаворитизма — всем знакам предпочитал тире. Оно возникало почти внезапно, решительно разрубая фразу и придавая ей неуступчивость.

Мария Федоровна освещала тенистый дом неземной красой — газетная буря не отразилась на королевской невозмутимости. Зато ко мне она подобрела, похоже, что оценила преданность, столь украшающую вассалов. Буренин — талантливый музыкант — все колдовал над фортепиано, отыскивал именно те мелодии, которые легче ложились на́ душу, в зависимости от настроения. А я делал все, чтобы мой отец не отвлекался на пустяки и мог спокойно сидеть над рукописью. Был переводчиком, секретарем, вел деловые переговоры. Он знал, что я неизменно рядом, если понадобится — отзовусь. «Где ты, сынок?» — «Я здесь, Алексей».

Почти идиллическая картина! Так ли все было на самом деле или так хочет сегодня память? Нет, шесть десятилетий назад вряд ли я чувствовал по-другому. Мы все были счастливы — каждый по-своему, мы верили, что овладели жизнью. И даже появление Грейс, созревшей для периода нереста, не помешало той пасторали. Щепотка перца была лишь кстати.

Увы, всему приходит конец. Прекрасным дням в Аранжуэце, прекрасным дням в Адирондаке. Впрочем, как знать — в их скоротечности, возможно, и скрыто их обаяние. Не доживают до рутины, однажды не становятся буднями, их назначение — согревать наше мертвеющее сознание и примирять с прощальной бессонницей.

Расстались в последний день сентября. На сей раз он уезжал в Неаполь. Я выучил это звучное слово давным-давно, на Большой Покровке. Мне было сладко его повторять. Казалось, что звонкая тарантелла когда-то обрела свое имя и стала городом, вознеслась над яркой дугой знаменитой бухты.

«Увидеть Неаполь и умереть». Увидеть Венецию и умереть. Увидеть Париж — и — вновь умереть. Чуть ли не каждая точка

на карте тебя обольщала и властно требовала — увидеть ее хотя бы разочек, а после ты вправе отдать концы. Но я не хотел послушно твердить эти лукавые заклинания. Увидеть, но увидеть не раз. Увидеть, но жить и жить без привалов. Взахлеб, не давая крови застаиваться и превращаться в бесстрастную известь. Жить, когда сила неистребима и даже когда она оставляет. Жить жадно, не признавая антрактов. Жить, добираясь до горизонта. Пока не изойду, не свалюсь — в шаге от цели, в последнем хрипе.

Он обнял меня, пробормотал: «Даже не знаешь, как ты мне дорог». Я заглянул в его увлажненные, невысказанно голубые глаза, шепнул ему: «Клигни, когда буду нужен. Помни, что я здесь, Алексей».

Я задержался еще на два месяца. Я уже понял, что Америка не станет моей последней пристанью. Не то что не мог в ней укорениться — я не хотел укореняться. Время для этого не пришло. В путь, в путь. Прощай, эмигрантская Мекка. Спасибо за твои оплеухи, ты сделала из меня мужчину. Мое путешествие продолжается.

Скорее всего оно будет тяжким. Что ж, жизнь — опасное приключение. А будущее имеет смысл, если оно таит загадку. Я неза-

висим, свободен, молод, распоряжаюсь своей судьбой. Она как глина — будь Гончаром, меси, лепи из нее что хочешь. Мни ее по-хозяйски, как женщину. Ты можешь придать ей любую форму. То, что открыто другими, — не в счет. Только ты сам открываешь земли.

Я слышу, как поет подо мной дорога Тихого океана. Вперед! Уже позади Гавайи и позади острова Самоа. Все ближе Тасманово море и час, когда корабль уткнется в берег.

Мне предстояло прожить полгода в новозеландском овечьем раю. Такое счастливое преобразование земли беглецов, земли каторжан. Но я не овца, меня там не ждали сочные травы зеленых пастбищ. Я должен был вновь не пропасть, устоять, сдать свой очередной экзамен. Горбиться грузчиком в Лоуэр-Хатт, после — на ферме близ Данидина. Перепахать своими ногами кентерберийские равнины и побывать во всех городах — от Уэллингтона до Крайстчерча.

Мало-помалу жизнь наладилась. Я стал посматривать по сторонам — отвоевал эту возможность. Мне попадались разные люди — и преуспевшие, и проигравшие. И те, кто просто отсчитывал дни, урвав себе

свой скромный клочок новозеландского благополучия. Выпали мне и ночные радости — несколько радушных красоток. Одна из них была мне по нраву даже и в дневные часы. Но не настолько, чтоб я захотел стать гражданином ее отечества.

Время от времени я получал добрые весточки от Алексея. Он по-отечески ободрял: «Зинка, держись, не вешай носа». Я и не вешал. Я уже понял: не дрогну ни при каких обстоятельствах. Что ни случится — не пропаду.

28 ОКТЯБРЯ

«Запоминай их, запоминай! О Господи, я совсем помешался. О чем я думаю? Через час не будет ни памяти, ни меня».

Так сладостно вспоминать Италию. Пусть даже все ее великолепии, ее цезарианская древность невольно тебя побуждают думать о собственной малости и мгновенности.

Хочу возвращаться к ней вновь и вновь. К той, что предстала тогда, впервые, безоблачной, как небо над нею, и простодушной, как ее дети. Еще не охваченной амбициями, дурацкой колонизаторской спесью. Не подожженной трескучими искрами писателя Габриэле д'Аннунцио, не соблазненного еще Муссолини, напялившим черную рубашку. Нет, я хочу вспоминать Италию без этих напыщенных де-

кламаторов. Своим слабеющим обонянием почуять запах лимонных рощ, услышать утренний шелест пиний, увидеть прибрежный сырой песок, будто вбирающий и приручающий адриатическую волну.

Хочу, хочу вспоминать Италию, похожую на ложе любви! В какую-то озорную минуту Верховный Зодчий ее задумал и воплотил как арену страсти. Недаром же, сохраненные временем, все изваяния ее богов одарены обилием плоти и так ошеломительно сходны с могучебедрыми любовниками.

Поныне хочу вспоминать ее женщин. Решительно всех, без исключения. От той трактирщицы в Кастенамаре с розовым гибким телом форели (она меня гостеприимно баловала обоими дарами природы), до королевы, меня поившей, — сама поднесла стакан воды, не соблюдая протокола, — жажда томила меня в тот день. «Сынок, всех ягод не съешь». Ох, знаю. Но — предпочитаю не знать.

Кончался май девятьсот седьмого. На Капри, благословенном Капри, соединились оба изгнанника. Звучит достаточно самонадеянно. Словно покинувший свою родину, известный всей планете писатель — такой же летучий лист на ветру, что и молодой

человек, скитающийся по белу свету. Чего он хочет, чего он ищет? Счастья? Фортуны? Слепой любви? Возможно, что себя самого. Пора бы понять, зачем Всевышний вложил в него сгусток воли и страсти.

Но не было времени долго задумываться над тем, кем он был и кем он стал, тем более кем он был замыслен. Знать все об этом бродяге и грешнике, о блудном сыне — дело Создателя, а дело блудного сына — жить. Жить, не давая себе передышки.

Впрочем, я вновь помогал Алексею, тем более что Марии Федоровне было не до этой заботы. Муза была занята по-прежнему своим революционным призванием и строго следила, чтоб Алексей служил пером великому делу и был опорой его вождям. Прежде всего опорой финансовой. По-прежнему бо́льшая часть гонораров текла в бездонную пасть движения. Теперь оно называлось партией, и в ней обозначились два крыла. То, что спокойней, объединяло так называемых меньшевиков — людей относительно приличных, другое (оно хлопало резче и взмахивало с особым шумом) — принадлежало большевикам. Думаю, эти обозначения, возникшие довольно случайно (от одного из голосований) сыграли впоследствии

важную роль. Масса, немного понимая, доверяясь инстинкту, тянулась к большему, надеясь, что большее значит большое. Сегодня я с грустью должен признать: большевики оказались удачливы. Да и успешны. На всех поворотах судьба им явно благоволила.

Она им дала прирожденного лидера. Настолько уверенного в себе, в своем всеведении, исключительности, в своем несравненном интеллекте, что эта уверенность перешла ко всей богомольно внешнему пастве. Думаю, что вправе сказать, используя нынешнюю терминологию: его суггестивные возможности превосходили нормальный уровень.

Среди малочисленных еретиков гуляла скептическая шутка: «Это случится только тогда, когда Ульянов станет премьером». Но утопический вариант, смешивший своей невероятностью, в один трагический день стал реальностью. Ульянов был утвержден премьером всея Руси, а братец мой Яков — ее президентом, пусть номинальным. В мире абсурда шутить опасно. По меньшей мере — недальновидно. Самые мудрые иронисты часто оказываются в луже.

Не странно ль, что люди, не выносящие усекновения общей свободы, столь радостно

расстаются с личной?! Мне так и не удалось понять, чем добровольное рабство роскошной навязанного и унаследованного.

Естественно, для чувства протеста всегда достаточно оснований. Мы видим тупость, скотство и свинство. Видим насилие над духом, над правом, над собственным существованием и мы выражаем свое несогласие, свое неприятие хода вещей. В этом, бесспорно, нет преступления. Преступное помутнение разума нас посещает в тот час роковой, когда мы изъявляем готовность наставить и просветить человечество. Тем более — его осчастливить. Для этой цели есть чудодейственное непобедимое слово «вперед!». Все просветители и благодетели несокрушимо убеждены в том, что движение поступательно. При этом им не приходит в голову, что дело вовсе не в поступательности, а в направлении движения.

Долгий мой век меня привел к взвешенному отрицанию касты, которую принято называть неким политическим классом. А между тем я ведь и сам принадлежу к этой породе. Суждение мое непоследовательно, но, полагаю, тем достоверней.

Внимание! Эти монстры опасны. Ни горстки сочувствия к людям, ни грошика со-

страдания к миру — одно лишь создание мертвых схем и невесть откуда взятое право топтать и сушить живую жизнь.

Чем дольше бродил я по белу свету, тем больше крепла во мне потребность (странная при моей дружбе с де Голлем и несомненной к нему любви) каким-то образом отделить и изолировать эту касту от бедных наших детей человеческих. Похоже, что она зародилась, когда я впервые увидел Ульянова.

Забавно (не для его оппонентов), что сей выдающийся гипнотизер жил купно со всей своей аудиторией под властью собственного гипноза. Вместе со всеми он был убежден, что он и есть долгожданный мессия, носитель той абсолютной истины, которой так трепетно ждут народы. И он вбивал ее в наши головы, порой удивляясь, сколь тугодумны и удручающе неповоротливы эти предметы на наших плечах.

Но еще больше он поражался, когда наткнулся на несогласие. Он просто отказывался понять, как жалкие сосунки осмелились ему возразить — ни стыда ни совести! Распущенность, двойка за поведение! Пусть сразу же отправляются в угол и помнят, что в следующий раз он выпорот их

без сожаления — они не смогут ни встать ни сесть.

Мария Федоровна Андреева, звезда Художественного театра, не возражала ни словом, ни вздохом. Молилась на этого режиссера, который готовился к постановке кровавой исторической драмы на сцене распростертой России. При этом она ревниво следила за Алексеем — достаточно ль истово он отдается богослужению.

Вел себя Алексей образцово. Как подобает властителю дум, певцу пробужденного авангарда. Больше того, побывал на съезде не слишком давно учрежденной партии. (О, боги! Сколько их предстояло!) Там и увидел он всю верхушку. Мерцал усталый, высокомерный, уже отодвинутый Плеханов. Сиял торжествующий новый гуру.

Мне довелось его наблюдать достаточно близко и убедиться в его непостижимой уверенности, что люди должны ему повиноваться. Он ведь и мне давал поручения, и я не сразу сумел уклониться. Вначале тянуло стать во фронт. Право же, было над чем задуматься и кое-что почерпнуть на будущее.

Однако в мой первый август на Капри меня завертели иные заботы. Явилась чи-

кагская невеста. Я так и не мог в себе разобраться — сильно я рад или сильно расстроен. В этой истории любви было немало присочиненного — как и во всякой такой истории. В Адирондаке меня закружила славная молодая горячка — барышня выглядела заманчивей и привлекательней всех остальных. И безусловно — оригинальней. Ее независимый характер, не признающий постылых правил, меня и занимал, и притягивал. Особенно после всех наших тягот, принудивших укрыться в лесу.

И все же, уже в урочище Мартинов, эта ее незаурядность стала во мне вызывать опаску. Новозеландская эскапада должна была многое прояснить. Моя влюбленность не помешала перемещениям в пространстве. К тому же после «страны надежд» (так я потом назвал свой очерк, претендовавший быть рассказом), я перебрался к Алексею. Достаточно странные поступки для жениха и для любовника. И вряд ли свидетельствуют о готовности торжественно обменяться кольцами.

Но Грейс была девушкой целенаправленной и полагала — не беспричинно, — что Пенелопово долготерпение должно быть достойно вознаграждено. Я видел, что свадеб-

ная церемония неотвратима и неизбежна. Да и куда же было деваться? На стороне законного брака объединились все аргументы.

Прежде всего мои обязательства. Однако не только они одни. В спектакле, который был сыгран в то лето, все обстояло не столь добродетельно, не так хрестоматийно бесполо. Пьеса могла быть не самой удачной, но декорации подавляли. Особенно — волю к сопротивлению. Остров, на котором развертывалась охота за прекрасным Иосифом. Жар юга, жар молодости, жар лета, жар наших тел — такие тропики действуют верней серенад. Когда решительно каждая ночь заканчивается грехопадением, победа буржуазной морали становится почти неминуемой.

Бедняжка! Ее эксцентрический стиль на сей раз сработал против нее. Мелочи, сущие пустяки, казалось, не стоящие внимания, иной раз становятся определяющими.

Не скрою, меня всегда раздражала ее любовь ходить босиком. Я говорил, что хочу быть единственным, кто видит ее босые ноги, что в этом сквозит эротический вызов. Она с учительской назидательностью мне сообщала, что именно так и достигается связь с землей. Но эта антеева зависимость

мне представлялась нехитрой игрой — возможностью предъявить свои прелести.

Пугала ее самонадеянность. Была неколебимо уверена, что с морем она — на коротке. Поэтому далеко заплывала. А плавала плохо и неумело, затрачивая уйму энергии. Понятно, что я выходил из себя, боялся, что все это скверно кончится.

И так же вела себя на берегу. Потомственному рыбаку объясняла, какие сети прочней и надежней.

Порой щеголяла своими фантазиями. Они сменяли одна другую. Не раз и не два она твердила, что хочет подняться на Везувий. Я ей сказал: «Лишь в день извержения». Этот ответ привел ее в ярость. Я тоже бесился — я видел претензию. Манерность, игра в оригинальность, которой она так дорожит. Мне вспомнились визитные карточки, которые штамповал мой гравер в своей мастерской на Большой Покровке. Оригинальность была для Грейс ее персональной визитной карточкой.

Да, мелочи. Но они-то оказываются последними гирьками на весах. А если к тому же еще помножаются на суффражистскую эмансипированность! Мы поняли — ничего не выйдет. Она примирилась с этим

спокойней, чем я опасался. Скорее всего ей надоели ее котурны. Да я и сам начинал актерствовать — подобный театр весьма заразителен. Лишь по ночам к нам возвращались наша естественность и свобода. Но вряд ли кому-либо удалось перенести течение жизни на это сладчайшее время суток. Даже самим Катуллу и Лесбии. И мы расстались. Я долго смотрел, как удаляется корабль, как уменьшается, словно истаивает, стоящая у борта фигурка. Прощай, чикагская босоножка! Спасибо тебе за твои дары.

С особым рвением я вернулся к своим неофициальным обязанностям — всемерно помогать Алексею. Я прожил с ним рядом четыре года, очень насыщенных, но нелегких. От вечного круговорота гостей нельзя было не ощутить усталости, а очень часто — и раздражения. Характер мой не был отполированным, похожим на бильярдный шар — теперь он портился на глазах, из всех углов торчали занозы. Вилла «Сеттана» превращалась в страннопримный дом марксистов, в некий дискуссионный клуб. Провинциальные златоусты запальчиво предъявляли права на истину, ведомую лишь им. Они мешали работать отцу и неумоимо его разоряли. Я то и дело переводил очередные сум-

мы на «Искру», то тлевшую, то вновь разгоравшуюся. При этом я скрежетал зубами от злости и мысленно посылал проклятья всей этой беспардонной своре.

Мои настроения не могли остаться никем из них не замеченными. Тем более дом никогда не пустел. Кроме марксистов к нам приезжали и подолгу жили коллеги-писатели, просившие помощи графоманы, курсистки, присяжные поверенные, служители сцены, негоцианты, впрочем, с либеральными взглядами. Я был драматически обречен на это мучительное общение. Отец покачивал головой, покашливал, поглаживал ус: «Больно ты прям. За что — ненавидим».

Это не слишком мне досаждало. Вокруг звенел итальянский праздник. Солнце купало свои лучи в изменчивой чешуе волны. Это был юг, благодатный юг. А мне еще так немного лет. Я и здоров, и силен, и влюбчив.

Последнее свойство моей природы всегда тревожило Алексея. «Всех ягод не съешь. Не надорвись». Когда начинала меня трепать очередная лихорадка, он хмурился, мрачно бурчал: «Бездельник». Как будто есть дело важнее любви! Бездельником

я становился в тот миг, когда не всецело принадлежал ему. Однако чем больше меня раздражало обилие посторонних людей, тем больше я думал о собственном будущем. Кто я, в конце концов, в этом мире?

В поисках внятного ответа я бросился сначала в Париж — разве не в нем молодой человек должен начать свое восхождение? Там честолюбие освящено славной литературной традицией и, стало быть, выглядит как достоинство. Париж покорила меня, заморозил, я сразу же понял: вот он, мой город!

Нет, тот, кто не просыпался в Париже в утренний час, почти на рассвете, в скромной гостиничке, в тесной комнатке, кто не распахивал окна, не замирал у подоконника, вглядываясь в ожившую улицу, слушая женские голоса, вбирая воздух проснувшейся жизни, пахнувшей хлебом из ближней пекарни, тот, кто не подставлял своих щек, разгоряченных ночной любовью, ломким касаниям ветерка, веющего весенней свежестью, тот не был по-настоящему счастлив.

Но я недолго там оставался — понадобился моему Алексею, некому было перетолмачивать его всесветную переписку.

Такие нетерпеливые вызовы я получал от него не раз. В Милане я трудился на фабрике — мне захотелось ему показать, что я в состоянии, черт побери, сам заработать себе на хлеб. Прошло всего лишь четыре месяца — он возмутился и возроптал: «Где ты, бездельник? Ты мне нужен».

«Я здесь, Алексей». Разумеется, здесь. Ты меня позвал, я услышал. Я тебе нужен, и этим все сказано. Я здесь и по-прежнему буду кем надо — твоим казначеем, твоею тенью, кем буду нужен, тем я и буду.

30 ОКТЯБРЯ

И все-таки я, еще не подошедший, добрался до госпиталя в Нейи. Сестра милосердия, американка, высокая пышная брюнетка, взглянув на меня, понеслась за хирургом. Обоим и в голову не пришло, что я отлично знаю английский.

Так значит, дела мои — хуже некуда. Но уже не было сил ни слушать, ни думать о том, что со мной происходит. Мысли мои, если только можно назвать их мыслями, словно сталкивались, путались, уносились все дальше от этого дня, от луга в цветах, от капитана, который крикнул: «L'eruption!» и тут же упал.

На Капри людей хватало с избытком, встречал я и тех, что пришлось мне по сердцу. Среди потока энтузиастов, жаждавших поклониться идолу, среди люби-

телей ухватиться за пестрый подол всемирной славы, среди репортеров, библиофилов, столичных и захолустных витий, восторженных дам, пожилых психопатов и молодых невольников чести — студентов, переставших учиться, среди разговорчивых теоретиков и мрачных немногословных практиков, известных связями с кроволюбивым и полукриминальным подпольем, были и стоящие люди. И между ними — издатель Пятницкий.

Именно с ним у меня возникла подлинная душевная связь. Я разговаривал с ним не таясь. Не избегая запретных тем.

Мы толковали и о словесности, и о моих попытках проникнуть в это величественное святилище. Он мне сказал, что было б полезно какое-то время пожить в столицах, слегка потолкаться среди писателей. Я сразу же вспомнил, что Алексей когда-то мне говорил о том же, остерегая: «Писатели — сволочи».

Мой конфиденгент расхохотался: «Суров Максимыч! — Но подтвердил: — Бывают и сволочи. Больше — завистники. А впрочем, их тоже надо понять. Подумайте сами: жизнь — собачья. *Vie chièpne*, как изволят вздыхать французы. Жаровня. Бессонный

котел самолюбий. Колючая тоска ожиданий, которые никогда не сбываются. Невыносимое ощущение собственной малости и незначительности. И чьи-то удавшиеся карьеры всегда — как нарочно — перед глазами. А вас не видят, не замечают. А люди — забавные насекомые. Так любят, чтобы их замечали. Не понимают, что это чревато».

Он напечатал мои творенья — и не однажды. Я был благодарен, но быстро унял литераторский зуд. До следующей моей работы прошло полтора десятка лет. Спасительный инстинкт удержал на самом краешке сладкой бездны. Головокружительной бездны. Сколько костей и черепов покоятся на дне этой ямы.

Помню, как я себя утешал: главное, черт возьми, впечатления. А их у меня должно хватить. Они мне подскажут мои сюжеты. Не только сюжеты — подскажут героев. Все так, но я убедился — и быстро: они не подсказывают слова. Можно быть переполненным жизнью и скопчески не уметь ее выразить. Но даже если сумеешь постичь великую тайну рождения слова, то надо найти его место в строке, надо следить, чтоб оно не выглядело дешевым бантиком или сте-

кляшкой, претенциозным, как ожерелье на пухлой шее вчерашней торговки, допущенной в великосветское общество.

Проклятье. Мне не хватает вкуса. Но кроме того, мне не дано того неповторимого стиля, когда уже по первому звуку ты называешь имя писателя. И это еще не все. Безусловно, мне не хватает соображений. Нет золотого запаса мыслей, которые только и придают вес и значение произведению. Сегодня, когда я перечитываю трогательно бездарные опусы, трогательно цветистые фразочки и вижу их нищенское щегольство, испытываю досаду и стыд.

Нет, хорошо, что я удержался. Возможно, со временем, упражняя неповоротливую руку, то падая, то поднимаясь снова, я мог бы образовать свой вкус. Мог бы, но вкус не решает дела. В конце концов, он только твой цензор. Этаким благожелательный цензор, который желает тебе добра. Но он не заменит того, чего нет.

Собственный стиль, хотя он и редкость — тоже не пропуск в литературу. Даже запас соображений, без коего ты никому не нужен, если и вызовет интерес, не означает, что ты — писатель. Нужна еще музыка в душе, которая неизвестным образом переливается

в твоё слово, необходим особый ритм, в котором живет твоё состояние, будь то согласие с жизнеустройством либо отторжение мира. Будь то гармония либо страдание. Ритм подсказывает вкусу, где надо заставить себя сдержаться, не заноситься, замкнуть уста. Ритм напоминает стилю, где он утрачивает особость, сбивается на известный лад, теряет необщее выраженье. Ритм регулирует мысль, дисциплинирует её — надо уметь, закончив дело, оставить неведомому наперснику пространство для собственной работы, уметь ощутить, где быть костром, а где зарницей, источником света, который взойдет за пределом книги.

Все-таки жаль, что все эти истины открылись так трагически поздно, когда мое бедное перо и вовсе утратило ту энергию и ту одержимость, с которыми можно набрасываться на белый лист и вновь штурмовать свой письменный стол. Без этого тока любая мысль утрачивает и жар и блеск, слова выцветают, становятся блеклыми и художничными, как дистрофики, — их иссушает анемия. Взгляните, они едва стоят на тощеньких, рахитических ножках.

Бог с ним. Что я мог, то я сделал. И даже написал свою книгу. Сам олимпиец Андре

Моруа сопровождал ее лестным напутствием. Все прочее написал мой отец и те, кто под стать ему дарованием. Слово принадлежит титанам. А я — человек прямого действия, старый солдат, легионер. И честно рассказал вам всю правду об Иностранном легионе. Возможно, для многих из вас Легион — другое обозначение ада. При слове «честно» вы лишь поморщитесь, читая «всю правду», — лишь усмехнетесь. Но я не из тех, кто бросит камень в самые гордые дни своей жизни. Я выбрал то поле служения Франции, где доблесть становится ремеслом.

Пятницкий был одним из тех, с кем мог я говорить откровенно. Он был основательный человек, при первом же взгляде внушавший доверие. Я был удручен, когда Алексей порвал с ним так резко и оскорбительно. Причина была достаточно вздорной — Пятницкий в своем альманахе вдруг напечатал не то и не тех. Раздутые принципы, сплошь и рядом, сродни микробам — лишают вас близких и оставляют вокруг пустыню.

В ту пору отец стал скор на разрывы — Ульянов ли его заразил своей нетерпимостью к возражениям, характер ли стал с годами портиться, но он на удивленье легко

стал обрывать многолетние связи. Он просто отталкивал все, что мешало его назначению — воспитать русскую народную душу. Поэтому презирал, заклеил Московский художественный театр за обращение к Достоевскому. Сей классик народной душе был вреден, равно как и те злополучные авторы, которых издал Константин Петрович. Вскорости я и сам испытал гнев посуровевшего отца. Был предан анафеме и отлучен. Если б не Екатерина Павловна! Я сразу же кинулся к ней за помощью — кто еще мог меня защитить? Она написала Алексею, умилила, добила прощения.

Италии я обязан встречей и дружбой с еще одним эмигрантом. То был примечательный человек. Везло мне на родственные характеры, как будто подоженные пламенем. Когда-то имя Амфитеатрова громом ударило по стране. За фельетон против всей династии насмерть обиженные Романовы отправили обличителя в ссылку. В конце концов он покинул отечество — впрочем, не первый и не последний.

Он был широкогрудый и кряжистый, с гривой, ниспадавшей на плечи, с острыми молодыми глазами, хотя и достиг уже зрелых лет. В его повадке, походке, пласти-

ке, в манере действовать, изъясняться была почти юношеская стремительность. Этаким вечный Sturm und Drang. Было и нечто театральное, как и сама его фамилия. Не зря же он пел в итальянской опере! Я вспоминаю о нем с благодарностью, пусть он, в небольшой мере, источник многих моих испытаний и бед.

Ибо давно зарубил на носу: причина любых твоих испытаний, равно как удач, в тебе самом. И, думая об Амфитеатрове, я мысленно не устаю поражаться: нет, дьявольски богата Россия! Щедра на детей необычного кроя. Щедра и на то, чтобы ими делиться с другими державами и племенами. Умеет транжирить свое добро. Бог знает, к чему ее приведет такое безглазое расточительство.

3 НОЯБРЯ

Гостя у Амфитеатрова в Специи, почти ненароком я свел знакомство с «даттилографом», ему помогавшей. Так называли тогда машинисток, не изменяя мужского рода. Это была русская девушка, дочка полковника-казака.

Звали даттилографа Женей, и стоит ли сегодня хитрить: мы сразу отметили друг друга. Этот взаимный интерес не был безгрешным, и неизвестно, как бы в дальнейшем у нас сложилось, если бы не ее сестра, только окончившая лицей, приехавшая навестить свою старшенькую. Тут и решилась моя судьба.

Лидочка, Лидия Петровна, Лида Бураго была красавицей. И я влюбился в Лиду Бураго, дочку казачьего офицера. Она много лет не могла мне простить, что, не до-

ждавшись ее появления, я увлекался ее сестрой. Ревность, умноженная родством, исполнена особого яда.

Но в первые дни мы об этом не думали. Не думали даже о том, какво бедной Евгении наблюдать наше внезапное сумасшествие. Меня озаботило только то, что юная долгоногая Лидочка выше меня на полголовы, — но что из того, сия подробность меня ни на шаг не остановила. Наоборот — скорей разожгла. Я чувствовал себя скалолазом, который обязан взять вершину.

Поныне я с радостью вспоминаю свое лигурийское безумие. Пусть даже в греховном подполье души таился к тому же и скрытый вызов, жила подсознательная потребность разрушить еще одну перегородку. Дочь казака и сын гравера, выкрест — чем не супружеская чета?!

Она должна была стать моей. Этого требовало мое детство, низкие, оскорблявшие ветхостью, нижегородские потолки. Требовала моя бесприютность, скитальческая бездомная юность. Все совершилось молниеносно. Без колебаний, раздумий, пауз. К тому же мы встретились с ней в Италии — там, как нигде, я пронзительно чувствовал мгновенность отпущенного мне срока. Чув-

ствовав свою хрупкость и малость, но вместе с ними и голос жизни, напоминание: *carpe diem!* Не упускай ни одной минуты. Кто молвил, что солнце Рима зашло? Оно пылает с нездешней силой. Казалось, во мне клопочут и стонут, кричат, задыхаясь от содроганий, разом ожившие тысячелетия.

В ту осень я окончательно понял: женщина должна ощущать, как яростно ты ее желаешь. Всю мою длинную дорогу не покидала меня удача — лишь потому, что во мне никогда не иссякали мое удивление и преклонение перед женщиной. Ни разу меня не настигала парализующая мысль, что вновь я столкнусь со знакомым пейзажем, что покоренная территория будет такой же, как остальные, давно завоеванные пространства. Я знал, что женская нагота неповторима, что всякий раз ждут меня новые открытия.

Весь путь от знакомства до нашей свадьбы занял у нас всего пять дней. Она подчинилась, ей стало ясно, что нет и возможности сопротивления. В последний октябрьский день ураган, грозивший обрушить две наши жизни, обрел наконец узаконенный облик. Еще неделю назад чужие, стали мы мужем и женой.

Я со стеснением сердца снова перебираю свои бумаги, листаю выцветшие страницы. И среди них я обнаруживаю картонный квадратик, напоминающий опрятные визитные карточки, которые штамповал мой отец, мой первый отец, оставленный мною. «Мария и Алексей Пешковы имеют честь Вам сообщить о предстоящем бракосочетании их сына Зиновия и синьорины Лидии Бураго. Оно состоится на Капри, на вилле Спинола. Будем счастливы видеть...» Нет ничего жизнеопасней этих истрепанных бумажонок, в которых когда-то призывно пели наши потешные надежды.

То был незабываемый день. Более шестисот гостей, едва ли не добрая половина наших восторженных островитян, засыпали розами и хризантемами мою молодую жену и меня. И радость их была так неподдельна, что сам я едва не прослезился вслед за расстроганным Алексеем. Было в той довоенной Европе, особенно в жителях ее Юга, какое-то славное простодушие, такая распахнутость сердец, что жизнь и впрямь казалась безоблачной, похожей на небо над их берегами. Возможно, что этому мироощущению способствовала устойчивость быта, казавшегося неколебимо прочным. Никто

и не мог предполагать, что скоро, через четыре года, весь этот солнечный дом накрестится и рухнет в свирепую топку войны.

Праздник наш длился почти весь ноябрь. Мы обезумели, нас оглушило жадное познание друг друга. Прошло немало ночей и дней, прежде чем мы однажды очнулись и, невесомые, опустошенные, снова увидели белый свет.

Что дальше? Ровно за две недели до нашего сочетания браком мне стукнуло двадцать шесть годков. И будь я даже холост и волен, возраст достаточный для того, чтобы спросить себя: кто же ты, братец? Тем более в своем новом качестве. При всей безопасности больше нельзя мириться со своим положением. Минет всего лишь несколько месяцев, и у меня родится дочь. Я превращусь в главу семейства. Пора наконец всерьез задуматься о месте в этом коловороте.

Девочку мы назвали Лизой. По имени моей бедной матери. Ее не стало пять лет назад — чахотка сделала свое дело. Я думал о ней с тяжелым сердцем. Я не был ей настоящим сыном, она не видела от меня ни преданности, ни тепла, ни заботы. Ее даже изредка не согревала простая спасительная мысль: она участвует в моей жизни.

Что она видела на Земле? Саратовские полутемные комнаты. Потом — такие же нижегородские. И всюду — низкие потолки. Они точно вдавливают в полы, расплющивают, не дают разогнуться. Была ли юность? Была ли радость? В девичестве славилась красотой, но встретила неугомонного гравера — и где они, красота и девичество? Рожала детей — одного за другим. Оседло жила в черте оседлости.

Я так и не видел ее ни разу с тех пор, как, крестившись, бежал в Москву. Вспомнила ли она обо мне, когда задыхалась, когда отходила? Я долго смотрел на свою дочурку — что ее ждет, что с нею будет? (Если б я только мог угадать!) Пусть хоть она не даст мне забыть ту, что когда-то меня вскормила. С меня-то станется, я себя знаю. Слишком неистово я мечтал уйти и затоптать все следы, любую память об отчем доме. Теперь, произнося каждый раз имя малышки, я будто заново сплетаю оборванную нить.

Чем чаще я думал о нашем будущем, тем зорче я видел, как осложняется мое пребывание у Алексея. Все обстоятельства — от житейских до отношения к псевдоистинам и людям, которые их исповедуют, все

вдруг сошлось, совместилось, сплавилось и развело нас в разные стороны.

Все началось с Марии Федоровны — при первом же знакомстве в Москве, когда она сразу мне показала цепкие хищные коготки. Потом, в Америке, наше общение не было столь остроугольным. Вокруг надрывались от возмущения благопристойные моралисты, она оценила мою готовность прийти ей на помощь и стать щитом. Теперь все вернулось на круги своя.

То, что столь властная королева вряд ли захочет ужиться с Лидией, можно было легко предвидеть. В доме не может быть двух хозяек. И все же не в том была первосуть. С московской встречи не мог я смириться с этой всеподавляющей волей. Нельзя копить в себе раздражение — оно становится динамитом. А он однажды разносит в клочья самую кроткую пастораль. Мне с каждым часом было все тягостней, невыносимее наблюдать, как разрушает эта планета вращающихся вокруг нее спутников. Сначала — бесхитростного Желябужского, потом — обреченного Савву Морозова, который безропотно финансировал своих же будущих палачей.

Теперь я должен был созерцать, как потрошили Алексея, как все, заработанное пером, бессонницей, нервами, потом и кровью, уходит в ненасытную прорву, на корм новейших «спасителей» Родины. Иные из них уже овладели необходимой сноровкой, потребной для всероссийского карнавала, — грабили на Кавказе банки.

Но дело было не только в деньгах — планета по имени Андреева сама уже превратилась в спутника. Не знаю, была ли еще у Ульянова столь фанатичная ученица. Всякое слово нового бога было незыблемо, было свято и обретало силу закона. Снова я видел, как Алексей бестрепетно расстаётся с друзьями. На этот раз — с чистейшим Богдановым, прогневавшим Носителя Истины. Бедняга был не последней жертвой, которую принес мой отец.

Выяснилось, что я не умею жить в воздухе узаконенной фальши. И даже вряд ли назвал бы воздухом липкое марево с паточным вкусом, с приторным до отвращения запахом. Впоследствии, когда мне пришлось вести политические игры, я сохранял привычный мне стиль почти вызывающей прямоты. Когда-то Алексей озаботился: вот так

я вербую себе врагов. Возможно. Но я потом убедился, что откровенность значительно действенней, нежели витиевато-уклончивая профессиональная дипломатия.

Итак, я не скрыл своих настроений. Кончилось это, естественно, скверно. Я переоценил свои силы и даже привязанность Алексея. Ночная кукушка возобладала. Тягаться с этим шелковым телом могло лишь другое, не менее шелковое. Печальный итог — я утратил очаг, где было мне так тепло и надежно.

О, Господи, за мною следящий! Кто бы ты ни был, как бы ни звался — старый ли непримиримый Бог, новый ли — любящий, христианский, — ты мог быть добрее к Зиновию Пешкову. Взгляни на него, он все еще молод, он пылок, он заряжен энергией. Он муж и отец, его жена ласкает его по ночам так жарко, самозабвенно, что, право, заслуживает и счастья, и дневного покоя. Долго ли ты еще будешь требовать, чтоб он метался, как лист на ветру, не находя себе места в мире? Меж тем он обязан его найти — свое, незаемное, не чужое. Он больше не может быть приживалом — ни у приемного отца, ни у радушных людей, ни у жизни.

Я снова кинулся за океан. Сначала, оставив семью в Неаполе, жил в Штатах один, как семь лет назад. Когда же приехали Лидия с Лизанькой, уже мог горестно подводить итоги здешних своих усилий. Не знаю, какой уж тут был секрет — Америка оказалась той дамой, с которой мне дважды не повезло. Возможно, был слишком нетерпелив, возможно, характеры не совпали.

Неутешительные плоды собрал я с эмигрантского древа! Работал три месяца библиотекарем, смотрел на полки, забытые книгами, и поминутно думал о том, что книге, подписанной моим именем, не встать с ними вровень — рассказец, очерк, о большем мне нечего и мечтать.

На пару недель приютил профессор, ему понадобился переводчик. Потом — без призвания, без охоты — попробовал стать деловым человеком. То занимался скупкой земель, то судорожно искал подряды. Чего только не было! И среди прочего — четырнадцать дней в арестантском доме!

Они разительно отличались от первых нижегородских отсидок. Тогда был задор, избыток силы, хмель от незрячей люб-

ви к свободе. Я ничего тогда не понимал, не представлял себе, что она значит, чего я хочу от нее и жду, но в этом слове был вызов империи. Недаром в крови так мятежно пенилось не покидавшее нас веселье, недаром поэт Скиталец строчил какую-то глупую оперетку!

Теперь все было совсем иное — холод, бессмыслица, злость на себя, на этот жестокий кусок Вселенной, не извиняющий неудачи. Вокруг меня теснились обломки, уставшие от своих поражений, люди без будущего, без воли, без всяких надежд — огрызки, окурки.

Мы с Лидией еще долго цеплялись за этот заокеанский лед. Но и вторая моя попытка привить свой строптивый российский дичок к бесстрастной почве Нового Света была напрасной: не то что не сдюжили — мы были отравлены нашей Европой. Ее радушием, ее солнцем, ее легкомыслием и беспечностью. И мы вернулись. Не понимая, что это приметы ее усталости и неспособности предотвратить уже недалекую катастрофу.

Нам снова помог Амфитеатров. С ним вместе мы оставили север, пересекли все «пять земель» — так похохатывал мой по-

**Л
Е
ЗОРИН
Н
Д**

кровитель — из Феццано перебравшись в Леванто. Я не жалел своих стараний, хотел ему стать необходимым. Похоже, что стал — он был доволен. Но годы покоя и благополучия, отпущенные нашей Европе, закончились — свои тридцать лет я встретил уже в новую эру.

4 НОЯБРЯ

Хирург был уверен, что я уже труп — во всяком случае, стану им быстро, в течение двух или трех часов. Кроме того, он смертельно устал, был голоден, зол, хотел передышки.

Но рядом с хирургом стояла женщина. А женщина — это спасенье Господне. Поэтому жизнь моя продолжилась.

...Мои отношения с Алексеем возобновились за год до войны. Но мы остались у Амфитеатрова. Хотя к тому времени Мария Федоровна уже вернулась домой, в Россию. Что между ними произошло? Очень возможно, что Алексей почувствовал себя неуютно от столь упоенной авторитарности. Возможно (ходили такие слухи), что тайная тоска о любви вновь овладела его душою. Люди, пригово-

ренные Богом к неутолимой потребности творчества, испытывают роковую зависимость от постоянного погружения в любовный наркотический чад. Счастливая власть двух вдохновений!

Такая версия, как мне казалось, была наиболее вероятной. Лет с тридцати пяти Алексей настойчиво играл в старика. Не только на Максима и Катеньку, не только на меня — он взирал, как мудрый дед, на все человечество. Но эта игра не помогала — он неизменно был человеком неутомимого пера и столь же неутомимой страсти. Я убежден, что таким он остался до своего последнего часа. Подобная горячая смесь очень немногим по калибру.

Как бы то ни было, все дальнейшее лишь подтвердило, что я не ошибся, не возвратившись под отчий кров. Грянула мировая война, громадные массы пришли в движение, и надо было определяться. Мой Алексей, разумеется, занял весьма благородную позицию, традиционно гуманистическую. Он осудил кровопролитие и проклял те и другие правительства. То-то досталось бы мне на орехи!

Я поддержал Амфитеатрова. Не то что вдруг возлюбил оружие (я этого не ощу-

шал). Не то что события пробудили дремавшую во мне кровожадность (ее-то не было и в помине). Я понимал, что убийство — зло, тем более массовое убийство. Но я был уверен в том, что в истории бывают решающие минуты — у зла обнаруживается имя. Без колебаний и без сомнений я произнес это имя: Германия.

Поныне тревожит меня загадка, как органически и естественно, на протяжении столетий жила бок о бок и совмещалась немецкая спиритуальность с этим немецким культом мощи. *Kraft und Geist* — я так и не понял соотношения двух величин: сила ли составная часть, либо сам дух — элемент этой силы.

Тогда, в четырнадцатом году, я чувствовал кожей эту угрозу, нависшую над европейской жизнью. Я помогал Амфитеатрову самозабвенно и бескорыстно. Я призывал всех честных людей сплотиться перед нашествием гуннов, разрушивших Брюссель и Лувен. В руинах святыни нашей культуры, быть может, вся наша цивилизация.

Я с раздражением перелистывал призывы отца остановиться. Опять он в привычном своем амплуа — неумолимого резонера, морального судии, небожителя. А эта его пере-

писка с Шоу, Ролланом и Гессе — поверх границ! И здесь — подсознательное актерство! Как прежде, играет в братство титанов, в надмирный союз исполинов мысли.

Да, выбор он сделал в полном согласии с проповедью семьи народов и апологией всечеловека. Единственно для него возможной. Но, по моему убеждению, не имеющей отношения к миру. В нем, в этом мире, живет и действует не романтический создатель, творец, Геракл, строитель жизни — смертный, как правило, мало схож с этими великолепными символами. И неслучайно Европу топчет отменно организованный варвар.

Однако вскоре я ощутил сомнительность своего положения. Живу в благословенном Леванто, в тепле и уюте, слушаю музыку, ласкаю свою законную самку, тетешкаю милое дитя, поглядываю на местных красоток и созываю людей на битву: «К оружию, к оружию, граждане, объединяйтесь в батальоны!» Руже де Лиль хоть был офицером, когда сочинил свою Марсельезу. А что я могу сказать о себе? Штатский крикун, тыловая крыса.

Нет, не по мне — нужно жить, как пишешь. Уж если ты зовешь в волонтеры, будь

сам готовым встать под ружье. Тем более как ценитель интриги, я был уязвлен и разочарован развитием собственного сюжета. Мне тридцать лет, а я и поныне все еще барахтаюсь в жизни! Нелепые судорожные попытки выбиться на ее поверхность. Пришей-пристебай у знаменитостей. Этаким человек из свиты. Малый, который всегда под рукой. Без почвы под ногами, без будущего. Вчера рассорился с Алексеем, завтра повздорю с Амфитеатовым. Придется так же покинуть Леванто, как перед этим оставил Капри. Ни своего угла, ни профессии. А между тем я глава семейства — жена, которая беспокойна, дочурка, которую надо растить.

Совсем не одни катаклизмы истории — мои повседневные обстоятельства также подсказывали решение. Так оно, в сущности, и происходит — история орудует странами, судьбами мира и рода людского, а рядом безвестный Зиновий Пешков пытается упорядочить жизнь. Обычно история и биография проходят, не скрещиваясь между собой, однако, случается, их направления пересекаются и совпадают.

Как правило, принятые решения нечасто претворяются в дело. Шопенгауэр когда-то

подметил, что черная мысль о самоубийстве — «из наиболее утешительных. Она помогает скоротать множество бессонных ночей». Вот также и клятву о новой жизни, которую начнешь с понедельника, никто и не думает осуществить. Те маленькие подвиги воли, которые три-четыре раза мы совершаем, не слишком существенны и не меняют ее течения. И все же однажды звучит сигнал.

Пусть те, кто не в силах принять этот вызов, заткнут свои уши воском и глиной. Но тот, кто не дрогнет, услышит колокол, поймет, что стоит на перекрестке, что время переломить судьбу. В начале декабря я расстался с партикулярной своей одежкой и с партикулярным состоянием. Как выяснилось позднее — навсегда.

Я знал, что Алексей будет зол. Это понятно — я игнорирую его громогласный пацифизм, и наша возрожденная связь может вторично оборваться. Но тут уж ничего не поделаешь. Значительно больше меня заботило бешенство моей пылкой казачки. Не помогали напоминания о том, что она — полковничья дочь, что в час, когда призывает война, жена должна снарядить супруга и проводить без упреков и слез. Она возра-

зила — вполне резонно, — что я оставляю ее с малышкой одних и без средств к существованию. Но Рубикон был уже перейден, выбор был сделан — бесповоротно. Скоро я был уже во Франции.

И сразу же вспомнил странное чувство, испытанное мною в Париже, в то — первое — свидание с городом. Господи, вот наконец я и дома.

Должно было пройти много лет, чтоб эта тяга к чужой стране, к ее языку, к ее фонетике, к ее столице, к ее провинции, тяга, скорей разогретая книжками, мало-помалу стала всамделишной. Не зря же, покидая Россию, я предпочел искать удачи в Америке, стране беглецов. Но, видно, и книги имеют над нами поистине колдовскую власть. Больше всего мне хотелось слиться, срастить свое сердце, себя самого, с этой талантливо воспетой и ярко описанной частью мира с ее магической привлекательностью. Быть может, доселе я оттого справлялся с потребностью в ассимиляции, что срок ее настал лишь теперь, под серо-жемчужным французским небом.

Но я упустил, что Прекрасная Франция, подобно всем прочим прекрасным дамам,

спокойно, как должное, принимала любовь прирученных ею пришельцев. Бедняг-волонтеров она встречала, ничем решительно не выражая своей благодарности и признательности. (Втайне мы все на это надеялись.)

Время признаться, что я был счастлив, когда очутился на передовой. То, что предшествовало ей, было ужасно и омерзительно.

Гнуснее всего был расстрел добровольцев, еще не привыкших к армейским порядкам, а проще сказать — к армейскому скотству. Они убедили себя, что люди, прибывшие умереть за Францию, погибнуть за чужую страну, будут оценены по достоинству.

Они и умерли за нее — только не так, как им мечталось. Не было оперных декораций, ни прочих живописных убранств. Ни звонких речей, ни священных знамен, ни бодрых маршей военных оркестров. То была смерть без аккомпанемента. Даже и барабаны не били, когда в них всаживали пулю за пулей по приговору трибунала.

И в чем состояла вина? Всё — вздор. Были растерянность, недоуменье, протест

против свинского обращения. Было печальное отрезвление еще одной кучки идеалистов за несколько минут до их казни.

Должно быть, я впрямь был рожден для армии, если такая тупая, бессмысленная, такая кровавая расправа меня от нее не отвратила. Больше того, я рвался в огонь, хотел поскорее засунуть голову в самое жерло, найти оправдание этому приступу милитаризма.

Ну что ж, я нахлебался по темечко будней позиционной войны. Не осторожничал в перестрелках, мало-помалу привыкая к зловещему свисту полета свинца. Согнувшись и стоя почти на коленях, усердно, часами, я рыл окопы. Старательный, образцовый солдат. Сравнительно скоро я заработал почетные нашивки капрала. Один волонтер — недавний учитель — с усмешкой сказал: «Итак, позади первая важная ступенька на лестнице военной карьеры». Мы посмеялись. А он не ошибся.

Но все это было лишь предисловием к конечной, всеобъемлющей правде, которая мне открылась в тот день, в жестокой атаке под Аррасом. Девятого мая, в медовое утро, после того как наши орудия расчис-

тили путь, мы рванулись вперед с каким-то полузадушенным криком, почти счастливые оттого, что пытка ожиданием кончилась. Если бы только нам было ведомо, что, по мистической воле истории, пруссачество признает свой крах день в день через три десятилетия, что все мы — лишь в начале дороги.

Последнее, что запомнил я четко, с какой-то неестественной резкостью, — весенний луг в золотых цветах. Я даже не успел поразиться, как отроческая метафора жизни преобразилась в пейзаж конца. «Так значит, они нераздельны, слитны», — на миг мелькнуло в моем мозгу. Казалось, что сотни маленьких солнц горели у меня под ногами, вокруг меня, за мной, впереди. И тут же, почти меня оглушая, тучи шмелей, стрекоз и цикад назойливо затрещали рядом — не сразу я понял, что нас встречает пламя взбесившихся пулеметов.

Бежавший рядом со мной капитан крикнул мне: «Да это Везувий! Везувий проснулся». «L'eruption...» Он засмеялся. И повалился. Ему разворотило живот. В ту же секунду я ощутил, что правая рука отрывается, хочет отпасть, как лист от дерева.

Боже, если ты есть, помоги! Левой рукой достал я нож, старенький перочинный ножик, разрезал ремни и зашагал, придерживая мою страдалицу. Почти километр без перевязки, держа на весу полумертвую руку! Потом, после краткого привала, еще четыре — и все пешком. Кровь из меня сперва хлестала, потом вытекала, как будто нехотя, как будто она со мной прощалась. И вдруг я понял, что это всё. «Черт побери, я умираю. Так вот как все это происходит. Больше не будет ни этого луга, ни этой запекшейся земли, ни красного неба над головой. Ни этого медового запаха весеннего пробуждения мира, которого не могут убить ни дым, ни гарь, ни пыль на проселке, ни даже моя сумасшедшая боль. Запоминай их, запоминай! О, Господи, я совсем помешался. О чем я думаю? Через час не будет ни памяти, ни меня». Я брел, обливаясь горячим потом, и думал: это какой-то бред. Что за судьба меня вдруг закинула из Нижнего Новгорода под Аррас, чтоб я здесь погиб, проведя на свете всего только три десятка лет? Жестоко, бессмысленно, несправедливо.

И все-таки я, еще не подохший, добрался до госпиталя в Нейи. Сестра милосердия,

американка, высокая, пышная брюнетка, увидев меня, понеслась к хирургу. Обоим и в голову не пришло, что я отлично знаю английский.

Хирург был уверен, что я уже труп — во всяком случае, стану им быстро, в течение двух или трех часов. К тому же он не стоял на ногах, был выпотрошен, был голоден, зол и больше всего хотел передышки.

Но рядом с хирургом стояла женщина. Сестра милосердия Керолайн — я первым делом узнал ее имя. Женщины всегда и повсюду оказывались моими заступницами. Вот и теперь пышнотелая фея явилась и вытаскила с того света. Она упросила, она умолила уже на ходу засыпавшего шефа, который был склонен дать мне убраться на небеса или в преисподнюю, сделать последнюю попытку.

Хирург пробурчал, что придется отрезать правую руку — согласен ли я? Я посмотрел на свою десницу. Она была траурно-черного цвета. Меня прошила железной иглой безжалостная горькая ясность: я вижу ее в последний раз. Но мог ли я показать уныние и слабость в присутствии Керолайн? Ни в коем случае. Я — мужчина. Не зря на-

читался я Джека Лондона. (Пройдет только год — он убьет себя морфием.) Я мужественно изобразил улыбку. И мужественно пробормотал: «Валяйте».

Когда в прощальные ночи мая я молча рвал зубами подушку, метался, не находил себе места, я не обманывался, я знал — мучительно ноет то, чего нет, чего уже никогда не будет — моя отрубленная рука. В те дни я понял: нет большего страдания, чем эта тоска о несуществующем, о том, чего уже не вернешь. Мне было худо до безысходности. Так где же ты, мой христианский Бог? И что же ты не пришел на помощь к новообращенному сыну? Где был ты в то волшебное утро? Где был ты, когда крещеный Гейне вопил от боли, теряя разум, семь лет смердя в «матрацной могиле»? Напрасно мы на тебя надеялись. Впрочем, теперь все равно. Я гибну.

Но я не погиб. Меня воскресила сестра милосердия Керолайн. Великая женщина! Ей открылось, что ни внимание, ни уход меня не поднимут, не возродят, что даже монашеское смирение не защитит меня от отчаянья — бывают роковые часы, когда милосердие только в страсти, и я был ода-

рен ее страстью. Она сказала, что не позволит мне умереть, не позволит сдаться, и это слово она сдержала. Все, что природа нам отпустила, а нам отпущено было щедро, все отдали без остатка друг другу, не укрощая себя, не скупясь!

И две недели душевного ада стали двумя неделями счастья. Когда же я встал с одра страданий, преображенного в ложе любви, я присягнул самому себе: отныне я никогда не сдамся. Дал клятву — не превратиться в обрубок. Ныне и присно — остаться собой.

Судьба моя привлекла внимание алчущей новых сенсаций прессы. Имя отца тому способствовало. Сын знаменитого пацифиста мечется между жизнью и смертью. Вы можете на него поглазеть в Нейи, в американском госпитале. Нагрянуло множество корреспондентов, и среди них — мой земляк Луначарский, знакомый еще по милому Капри. Дохнуло былым, итальянскими днями, далеким неправдоподобным покоем. Он мне запомнился с той поры — приятный, улыбчивый собеседник. Интеллигентен, учтив, нахвтан, несколько хлыщеват, но и только. Среди эсдеков он

выделялся отсутствием ожесточенности. Я видел — он искренне мне сочувствует. К моей досаде, спустя три года он неожиданно стал министром — или народным комиссаром, разницы нет — в большевицком правительстве.

Настал наконец вождеденный день — безрукий Пешков был признан здоровым, излеченным, вполне исцеленным, пригодным к дальнейшему употреблению. И я простился с моей Керолайн, вернувшей меня в круговорот. Не знаю, за эти печальные дни или за эти веселые ночи, но Керолайн ко мне привязалась. Когда мы прощались, она всплакнула.

Я обнял ее своей левой рукой, оставленной мне для всех моих нужд — для этого горького объятья, для будущих любовных касаний. Да мало ли еще для чего! Я должен был научить свою шуйцу делать работу обеих рук — писать не хуже покойной правой, справляться со своим туалетом, завязывать шнурки на ботинках, стрелять, когда надо, с обычной меткостью, делать любой непредвиденный труд, которого прежде не замечал и не считал никаким трудом, — он становился едва ли не подвигом, а это никак меня

**Л
Е
ЗОРИН
Н
И
Д**

не устраивало, он должен стать обыденным делом.

Левой руке предстояло помаяться и за покойницу, и за себя. Мне тоже придется жить за двоих. За несмышлениша-волонтера, так рвавшегося в пекло войны, и за увечного ветерана, который чудом, но уцелел.

5 НОЯБРЯ

Каким восхитительным светлым праздником солдату рисуется возвращение! Как он торопит минуты встречи! В глазах его солнце, в ушах его музыка. Насколько бледней и тусклее явь. Иной раз она собой представляет почти перевернутое изображение.

От Алексея пришло письмо. Достаточно сдержанное и холодное. Как «невоенный человек» он попросту не может испытывать участия к «военным героям». В этом последнем определении звучала не лестная, не уважительная, а ироническая нота. Героем в его глазах я не был — я не впервые мог убедиться, что каждый, кто действует вопреки его направляющей идее, становится либо его врагом, либо мишенью его нетерпимости. Однажды я даже

ему сказал, что он унаследовал от Толстого его мессианское самосознание. Помнится, он ничего не ответил, только нахмурился и помрачнел.

Но еще больше я был удручен свиданием с Лидией — я ощутил, что до сих пор не прощен, что обида все еще грызет ее душу. Я сразу понял, что дело худо, — стоит позволить такой змее однажды овладеть твоим сердцем — и прошлого больше не существует, она беспощадно его пожрет.

Я видел, соломенное вдовство ее несколько не иссушило. Ее торжествующая плоть все так же пышна, как свежая сдоба. Я молча оглядывал эти стати, привыкшие к еженощной ласке, и скорбно гадал, как далась ей разлука. Но дело было не в этих мыслях, подсказанных грешным воображением, — чем дольше я вглядывался в нее, тем тяжелее мне было смирать свою ужаленную гордыню. Не бойся, тебе не придется стыдиться подобоострастной любви инвалида. Я гладил Лизочку по головке, малышка испуганно отводила свои растерянные глазенки, не понимая, куда же делась еще одна рука ее папы.

Мне было жаль обреченной семьи, впрочем, и Лидии было не легче — мы призыва-

ли на помощь ночи с их помрачением умов и тел, однако потом наступали утра, которые возвращали трезвость.

И вновь мне помог Амфитеатров. Он угадал, что я обрету себя в тесном общении с аудиторией. Я стал разъезжать с публичными лекциями, если так можно было назвать мои вулканические монологи. Поистине, *l'éguption* на трибуне — я вспомнил бедного капитана.

Объездил я почти всю Италию. Страна совсем недавно последовала за Англией, Францией и Россией, война была еще непривычна, призывы действовали, как хмель. Еще не видно черного цвета, не облачаются в траур жены, еще не пришло сиротство к детям. Марши и песни звучали гордо, и далеко было Капоретто. Люди внимали мне с доверием — не краснобай, с грехом пополам освоивший правила элоквенции, нет, человек, пришедший оттуда, не пожалевший себя самого.

Впрочем, и позднее, в Америке, меня встречали с таким же пылом. А публика оказалась щедрой не только на возгласы одобрения. Я заработал немало денег, чтобы отдать их от чистого сердца славному госпиталю в Нейи, в котором мне отрезали

руку, где так целебно и патетически спала со мной милая Керолайн.

Я стал привыкать к аплодисментам. И понял, что трибуна коварна. Она превращается в наркотик — лишись ее, и весь свет не мил. Недаром политики — те же актеры. Жизнь без ощущения власти — пусть даже недолгой, даже минутной — над покоренной тобой толпой становится бесцветной и пресной. Я чувствовал, что совсем немного — и стану подобным же морфинистом.

Что же спасло меня от падения — а это словесное *l'éguption* казалось мне бесспорным падением? Я был тогда молодым человеком с естественной неискаженной психикой. Меж тем я умел завязывать связи не хуже любого политикана. Не то чтобы я прилагал усилия, но если хотел понравиться — нравился. Похоже, я обладал теми свойствами, которые принято объединять расплывчатым словом «обаяние». Сравнительно за короткий срок я сильно расширил круг людей, испытывавших ко мне симпатию.

Суть в том, что мечтой моей была армия. Не странно ли? Я по ней тосковал.казалось, что может меня привлечь после того,

что со мной случилось? Что я в ней видел? Свинец и порох, которые меня изувечили. Но — сила призвания, господа! Ей невозможно сопротивляться.

Должен сказать, мне вновь помогло имя отца и внимание прессы. Сын Горького, чудом оставшийся жить, мечтающий с непонятным упорством вернуться на военную службу! Мое желание осуществилось, к тому же меня наградил сам Жоффр, маршал Франции, победитель при Марне. Мне был вручен военный крест с пальмовой ветвью (спустя два года — и орден Почетного легиона).

Благоприятные обстоятельства и расположенные люди. Был среди них один офицер, в котором я сразу же распознал весьма неординарную личность. Ростом с коломенскую версту, с длинным лицом и птичьим носом, холодноватый, решительный, резкий, держащий всех прочих на расстоянии, за что его многие недолюбливали. Предпочитал лапидарный стиль. Суждения преподносил как формулы. Меня он привлек своим умом — отточенным, острым, как сталь клинка. А чем привлек его я? Не знаю. Общительностью? Своим нежеланием покорно следовать за судьбой? Ах, разумеется, своим

шармом... Но я склонялся к другой причине — ему полюбилась моя прямота.

Гиз Лотарингский (такое прозвище дали ему друзья и недруги — тех и других оно устроило) мне оказал свое покровительство. Не он один. Но его я запомнил. И в будущем наши жизни сошлись. Пока же я был возвращен на службу и произведен в лейтенанты — спустя два года я стал капитаном.

Я не попал на линию фронта — единственная моя неудача. Иные скептически усмехнутся — мало ему одной руки... Но право, я чувствовал так, как чувствовал. Жизнь под вражеским огнем, жизнь в столь близком присутствии смерти (а я уже понял — они неразрывны), жизнь, достигшая запредельной и опьяняющей полноты, — она и была той самой жизнью, которая мне однажды привиделась, то был мой луг в золотых цветах. Но в армии не положено спорить — я был командирован в Америку. Мне надлежало своей убедительностью ускорить ее вступление в войну.

Эта поездка по всем статьям должна была стать для меня подарком — опять дорога (небезопасная — вокруг немецкие субмарины), опять движение через Атлантику,

не в скопище человеческих тел, не в спертom воздухе, состоящем из испарений, из ожиданий, из тайных страхов, надежд, отчаянья, — такую смесь не в силах развеять даже и ветер океана. Нет, ныне я был сам по себе, я был эмиссаром с важнейшей миссией, был облечен доверием Франции. Не то что я сторонился толпы — в армии не в почете брезгливость — равно как стремление обособиться, но я уже понял — раз навсегда, — что мне с муравейником не по пути, что частью его никогда не стану.

Обидно! Столь лестное поручение пришло в неподходящий момент. Оно обрубало совсем еще хрупкие, но тесные отношения с дамой, при этом — с дамой незаурядной. Графиня Черных была супругой австрийского консула в Сараево. Как видно, не без его участия Сербия угодила в ловушку. Сама графиня была англичанкой, и этот союз не имел перспектив.

Консулу я мог посочувствовать — жена его была хоть куда, прямая и гибкая, точно хлыст, пожалуй, несколько сухощавая, как многие ее соотечественницы, но жаркая, как лесной костер.

Я ринулся на нее бесстрашно, я должен был взять, одну за другой, оборонительные

траншеи. Мне было необходимо понять, чтоб более к этому не возвращаться: способна ли красивая женщина простить мне отсутствие руки? Сестра милосердия Керолайн была не в счет — она возрождала, она заслоняла от небытия. Мне было непросто определить, чего тут больше — ночной горячки или исполнения долга?

Сестра Керолайн вернула мне жизнь, графиня Черных вернула кураж. Я окончательно убедился: женщине трудно обороняться, когда она чувствует, что желанна. И в каждом обращенном к ней слове отчетливо слышит охотничий зов, почти задыхающийся от нетерпения.

Мы были с ней счастливы краткий срок, который мне отпустила фортуна вкупе с военным министерством. Я одарил ее одержимостью, той, что досталась мне по наследству от нижегородского гравера и от жены его, погубившей в комнатах с низкими потолками свою галилейскую красоту.

Моя деликатная миссия в Штаты, как видно, была сочтена успешной. И отдых в Париже, в отеле «Крийон», в оплаченных Францией апартаментах поэтому оказался недолгим — настала пора отправляться в Россию. Выбор начальства мне был поня-

тен — сын столь прославленного писателя, к тому же родившийся в этой стране.

И вот, подавляя свое волнение, я вновь ступил на Русскую землю, отважившуюся жить без монархии. Куда занесет ее разинский вихрь, чем кончится новая пугачевщина? Сама поверженная династия была далека от слепых иллюзий. Великий князь Константин Николаевич писал о российской цивилизации: «...она только с виду христианская». И добавлял — с подавленным вздохом: «По проявлениям своим... языческая». Мне предстояло понять и взвесить: может ли Франция рассчитывать на эту языческую союзницу?

7 НОЯБРЯ

Мы встретились с Алексеем в Питере, в квартире на Кронверкском проспекте. Прощай, Италия! Буревестник обязан был вернуться в Россию, где наконец-то в полную мощь грянула вожделенная буря. Он обнял меня, скользнул глазами по опустевшему рукаву, пробормотал: «Ты здесь, шовинист?» Я подтвердил: «Я здесь, Алексей». Как я любил его в эту минуту!

Было о чем поговорить, мы жадно расспрашивали друг друга, я то и дело его оглядывал, хотелось понять, что он испытывает. Самодержавие побеждено, Россия воспряла, народ пробудился, больше уже не отделен от интеллигенции городскими — как ей, болезной, живется-можетя без этой высмеянной охраны, без разделительной полосы?

Вопрос тем более своевременный, что сам он однажды печатно признался в том, что не в силах «любить народ». Да и за что его любить? — спрашивал Алексей раздраженно в тех же болезненно честных строчках. За это остервенелое пьянство, за то, что он бьет сапогами в живот своих несчастных беременных жен? Он слишком хорошо его знал, к тому же он сам был его частью. Поэтому не вздыхал под гипнозом этого вечного «чувства вины», которое просто фатально следовало за разорившимися дворянами и преуспевшими разночинцами.

Его бесстрашная откровенность была еще одним подтверждением, что он настоящий, большой писатель. И вместе с тем он пытался унять свою тоску и недоумение, он верил, что сможет направить стихию по необходимому руслу, сумеет ее образовать. Мне привелось наблюдать в те годы многих его известных собратьев, они не выдерживали сравнения. Одни уверяли себя, что счастливы, старались подчеркнуто опроститься, другие заискивали и льстили новейшим господам положения, третьи бесильно и жалко злобствовали. Он отличался от всех естественностью и неспособностью к притворству. Нисколько не гримируя рас-

терянности, старался ее преодолеть. Точно приказывал сам себе: надеяться, не впадать в отчаянье, работать, работать, всегда работать. Не вспоминал ли он, как молитву, старый толстовский завет «потрудись» — единственную возможность спасения и возрождения надежды? Не думаю. По сути своей, по Божьему замыслу, с первого дня, он был испуленный неистовый труженик.

Он пожелал, чтоб мы встретились с Яковом. Это свидание братьев-соперников произошло у него на Кронверкском. Я с интересом и смутным волнением вглядывался в полузабытое и все-таки родное лицо. Оно возмужало и стало резче, черты заострились, его глаза, посверкивавшие за круглыми стеклами, смотрели еще холодней и враждебней, еще подозрительней и отчужденней. Я знал, что мой брат наглотался лиха — столько арестов, столько побегов, — вдобавь хлебнул сибирской стужи, кусачего таежного ветра, мне было ясно, что он не доступен обычным человеческим чувствам и, уж конечно, такой безделице, как наше с ним кровное родство. В том санкюлотском палаческом буйстве, которым он освятил свою жизнь, не может быть места слюнчавым всхлипам. В нем будет царить единственно

верная, непобедимая идеология, преданность ей и послужит пропуском в построенный и обретенный рай.

Он видел перед собой ренегата. Наемника буржуазной нечисти. Прислужника мирового зла. Врага народа. Империалиста. Он не поверил бы, если б в тот миг, когда он уже прощался с жизнью, спустя два года, ему бы открылось, что эту жизнь он отдал созданию безжалостной криминальной империи. Ее еще не было в час нашей встречи, но он уже был ее посланцем, гостем из недалекого будущего. Его пронзительно звучный голос налился якобинским металлом, окреп для того, чтоб перекрыть любого, кто вздумает возразить. Стальная ульяновская школа.

Позднее я прочел у Ренара: «Зачем вы постоянно кричите, если вы говорите правду?» Русский революционный ответ, как оказалось, был крайне прост: «Прав тот, кто способен и кто умеет всегда перекрыть оппонента». Вы не умеете орать? Значит, остаетесь неправы. Сила, которая все ломает, замешивается в голосовых связках. Она начинается с силы крика. Так разговаривают с толпой. С охлосом, переименованным в демос, чтоб ненароком его не отторгнуть.

Об этом я ему и сказал. Ставка на множество слишком расчетлива, чтобы действительно быть бескорыстной. Что до меня, то за эти годы я потолкался среди людей больше, чем это необходимо, и апология муравейника уже неспособна воспламенить меня.

Напрасно надеялся Алексей нас примирить, воззвать к нашим чувствам. Мы разошлись, чтобы больше не встретиться. Яков по всем статьям преуспел. Во всяком случае, в соответствии с его честолюбивой душой. Он стал вторым человеком в стране и номинальным главой государства.

Но это был недолгий триумф. Двух лет не прошло, его не стало. В России свирепствовала «испанка», она выкашивала миллионы. И, несмотря на высокий ранг, казалось, вознесший его над ними, он стал одной из бесчисленных жертв. Двух лет не прошло, мой брат, мой враг, мой Бонапарт с Большой Покровки, ушел туда, где крики смолкают, где пули перестают свистеть и быть последними аргументами, идеи утрачивают власть.

Я не был, подобно ему, свободен от смутных приступов ностальгии и прочих непозволительных слабостей. Мне снова

привиделся Нижний Новгород — комнаты с низкими потолками, наша чахоточная мать, покорно рожавшая своих деток. Я горько шепнул: «Ну что, жакобен, ты успокоился наконец? Иссякло сжигавшее тебя пламя? Оставило твою бедную голову, твою ожесточенную душу?» Но это был не вопрос, а вздох. Я знал, что не услышу ответа.

Я несколько раз покидал Россию — то приходилось отбыть в Румынию, то в Штаты, то на Дальний Восток, — но самые главные ее годы, время ее раскола надвое, названное Гражданской войной, мне выпало прожить вместе с нею. И на моих глазах она сделала свой страшный, самоубийственный выбор. Естественно, раздумья о том, что я увидел и перечувствовал, не оставляли меня всю жизнь. И ныне я накрепко убежден: ничто не могло предотвратить победу этой безумной системы.

Неукротимых и жестких людей, далеких от всяческих сантиментов, хватало и на другой стороне. Не мне, в мои преклонные годы, иметь какие-либо иллюзии, связанные с человеческой сущностью, и все же не всем хватило решимости сделать тот шаг, когда можно все и возвращения уже нет.

Служба давала мне все возможности для параллелей и для сравнений. Именно мне было поручено доставить известие Колчаку о том, что Париж его признает Верховным правителем России. То был человек от-важный и яркий, к тому же даровитый ученый — он сделал в океанографии имя. Это нисколько ему не мешало быть храбрым, талантливым адмиралом. Он знал: на войне как на войне, иной раз приходится быть беспощадным — я не хочу его приукрашивать. Однако он был человеком чести, способным забыть о собственном благе, способным отдать своей Родине голову, а душу — женщине, о любви его уже тогда творилась легенда.

Впоследствии мне не раз доводилось следить за отчаянными попытками бестрепетно встать на пути муравейника. Мало кому это удавалось. Что же касается адмирала — мне было ясно с первого взгляда — при всех своих недюжинных качествах, твердости, смелости и уме, при всей безупречности породы, готовности стоять до конца, нести свой крест, умереть на дыбе — он исторически приговорен. Кончилось пулей в лоб на рассвете. Не зря же я изучил и брата, а также других его однодумцев. У них в на-

личии были те свойства, которых их врагам не хватало. В непросвещенности и невежестве кроется необоримая сила. Впоследствии эту закономерность освоили многие политиканы — старались казаться проще и проще.

Пожалуй, только один Ульянов и самые близкие ему люди вполне обладали чувством массы. Ульянов ей втолковывал, что свобода и есть надежный источник равенства: они и слитны и нераздельны, и друг без друга не существуют. При этом отчетливо понимал, что их неразрывность — чистейший вздор, лишь галльский восемнадцатый век сделал их неким единым целым, что в этих понятиях заключено неустранимое противоречие — свобода в равенство не вместится. А еще лучше он знал, что России равенство много важнее свободы, что такова ее первосуть.

Можно, естественно, сослаться на подростковое сознание моих соотечественников — потерпите, однажды повзрослеем и мы! И Англия обезглавила Карла и Франция — беднягу Луи. Моя прекрасная Марианна трижды сметала своих монархов, пока окончательно не напаялила славный фригийский колпачок. И все же ничто не идет

в сравнение с природой российской междоусобицы.

В четырехлетнем иступлении тех, кто потребовал передела, больше, чем их мечта о воле и даже стремление к справедливости, кипела и билась их кожная ненависть к любому подобию превосходства. И это тяжелое, чадное пламя система сумела распространить на весь наш личностный заповедник. Выяснилось, что она угадала. На долгий срок верхи и низы совпали, если не в образе жизни, то в образе мыслей и общности чувств. Их органическое неприятие всякой индивидуальной воли и было основой такого родства.

Понятно, что мне совсем непросто далась моя новая реальность. Впоследствии Франция с помощью Сартра снесла нам свой экзистенциальный плод. Его персональная ответственность, эта суровая и неотступная *responsibility personelle*, полярна нашей артельной природе.

Я ощутил это и по себе, по собственному шальному характеру, который еще многие годы являл собою все ту же смесь парижского с нижегородским. Поистине, дух Большой Покровки витал надо мною, словно препятствуя и не давая слиться с Ев-

ропой. Возможно, склонность к армейской службе, особенно в моем Легионе, которую порой объясняли моею тягою к авантюре, была моей российской приверженностью все к той же надежной мужской артели.

Но в годы, когда поворот сюжета сделал меня не только свидетелем — в какой-то степени и участником русской Гражданской войны, все меньше хотелось думать о миллионах. В отличие от авторов эпосов с их непомерными амбициями, все реже мугили мне голову толпы с их жаждой взаимного истребления. Уже не хотелось в их явном безумии видеть величие и поэзию. Гораздо существенней было понять, как удержаться гордой соломинке в этом взбесившемся океане, если уж ее угораздило столкнуться лицом к лицу с историей?

Я знал, что должен держать дистанцию между собой и богиней Клио, между соломинкой и стихией. Ни в коем случае не потерять себя, не получить отвращения к жизни, любить ее вопреки всему. Как женщину. Жизнь есть та же женщина.

Что это истина, я убедился — в который раз! — достаточно скоро. Так же, как в том, что я одарен неукротенной готовностью к счастью.

8 НОЯБРЯ

В Тифлисе солнечно в зимний день. В Тифлисе тепло — почти как летом. Над улицами плывет дыхание благословенной южной сиесты. Вечером влажная луна медлительно серебрит Куру. В воздухе — ожидание чуда. В Тифлисе хочется верить в молодость.

После кровавой сибирской трагедии, после того, что застал я в Крыму, на улицах его городов и в штабе побежденного Врангеля, после рыдающей Графской пристани, где в суматохе, в отчаянье, в давке грузилось с проклятиями и воплями на отходящие корабли и растекалось по трюмам и палубам русское прошлое, русское горе, после увиденных мною воочию Конца и Исхода, каким подарком было явление этой женщины!

Такие, как она, не рождаются в нашей разгромленной эпохе. Понадобилось, чтоб вдруг сошлись и встретились две вековые струи — петербургская (Саломэ оказалась внучатой племянницей Плещеева) и тифлисская (ибо ее отцом был князь Николоз Андроникашвили).

Она приходила в себя на Юге от Севера и от северян, от этой любви с мистической стужей, от этих салонов и кабачков, в которых под пляску изысканных рифм народолобиво ждали возмездия.

Дождались. Богоносные мстители, послушные исторической воле, то испражнялись в саксонский фарфор, то жгли усадебные библиотеки. Все это было смиренно оправданно. «В белом венчике из роз» и так далее. Понадобилось еще два путешествия из Петербурга в Москву по маршрутам Смольный — Кремль, Гороховая — Лубянка, чтоб господина метафизики дрогнули.

Ее поманил благодатный Тифлис, который недавно обрел независимость. Но мне, побывавшему с краткой миссией в этом гортанном, песенном мире, мне было ясно, что южный город с его неистребимой веселостью, с непреходящей потребностью в радости, с его теплолюбивою кожей бу-

дет повержен, исход предрешен. Не суждено ему было стать, на что рассчитывали в Париже, форпостом родственной цивилизации.

В благословенную минуту увидел я тебя, Саломэ! И всем ожидавшим меня испытаниям, всем извержениям и катастрофам так и не удалось обесцветить того, что со мною произошло. Вижу тебя во всей твоей прелести, в утреннем, розовом цветении твоей непостигнутой красоты — земной и воздушной одновременно. Напрасно поэты этого странного и задохнувшегося на полувздохе, бархатного сезона России, названного Серебряным веком, старались воспеть тебя, а живописцы стремились тебя запечатлеть. Тайна твоя осталась с тобою.

Мне надо было тебя спасти. Было б едва ли не преступлением оставить ожившую элегию в бескрасочной казарменной жизни. Нет, что угодно, только не это! На родине тебе нечего делать. Помню ту ночь: «Меня отзывают. Завтра. Поедете со мною?» Ты согласилась без раздумий: «Завтра? Что ж, едем». Я переправил тебя из Батума на канонерке. Без паспорта. С одним чемоданом. И ты прошла этот рейс, дорогая, как подлинный военный моряк.

В крикливом и пестром Константинополе поверженное белое воинство растерянно бинтовало раны и силилось понять происшедшее. Но нам уже было не до него. Я уже знал, что прошлого нет, что существуем лишь ты да я и наше античное путешествие. Мы вместе искали и находили заветное золотое руно — и наши предки в нас возрождались. Твои колхидские земледельцы, мои бородатые пастухи — от них и только от них достались в бесценный дар отвага и мощь. Они отозвались в нас обоих вновь через долгие тысячелетия.

Весь день посвятили мы нашей любви. И после, когда сгустился вечер и наконец мы с тобою укрылись в экспрессе под именем «Орион», когда, торжествуя загудев, он, точно нехотя, оторвался от константинопольского перрона и, набирая ход, полетел сквозь душную троянскую ночь, мы, отгороженные от мира берегом нашей опочивальни, под стук колес, вновь любили друг друга.

В Софии нас поджидала ловушка. В новом паспорте на транзитной визе не было болгарской печати. Таможенники, с балканской спесью оберегавшие свою власть решать человеческие судьбы, тебе отказали в праве следования. Меня осенило вдохно-

вение. Я поднял печать почтовой службы, лежавшую на пыльном столе, и без малейшего колебания проштемпелевал лиловой подушечкой девственный паспорт моей возлюбленной. И нас пропустили без слова, без звука. В поезде ты благодарно призналась, что в это мгновение ты поняла: со мной — хоть в пекло, со мной — хоть в лед. Хоть на обед к самому Мефистофелю.

Но мы направились в лучшее место — в воспрянувший после войны Париж.

Спасибо тебе, моя княгиня. Мне, пережившему ад этих дней, увидевшему, на что способен обожествленный Алексеем венец творенья и царь природы, убедившемуся, что зверь в человеке только и ждет своей минуты, — одна лишь ты и могла вернуть мой детский луг в золотых цветах.

Тебя уже нет, и где оно ныне, вешнее розовое сияние? И это земное притяжение и легкое воздушное кружево? Где все, так любившие тебя? Где письма Цветаевой, рифмы Ахматовой, Тифлис, когда-то тобой покинутый, исторгнувший тебя Петербург? И где наши солнечные ночи, наше ликующее беспмятство?

Не сомневайся — оно во мне. До моего последнего часа.

11 НОЯБРЯ

Нынче особенное число, поистине великая дата. Без малого полвека назад кончилась Первая мировая.

Она завершилась почти внезапно. Однажды, на пятом году войны, Германия поняла, что выдохлась, что воевать ей решительно нечем. Именно так. Возможно, есть кем, но нечем. Сломался тот главный стержень, который скреплял собой всю машину. Исчерпан до дна духовный ресурс.

Послевоенная Европа являла прелюбопытное зрелище. Неудобоваримый коктейль, к которому предстояло привыкнуть. Франция с Англией в белых одеждах, в этаких стильных белейших тогах — они олицетворяли собою восторжествовавшую мораль, дух права, сломивший грубую силу. Герма-

ния, осужденная ими на разорение и нищету, — неумолимая расплата за попранную континентальную общность. (Кара оказалась и тяжелой и удручающе недальновидной — в этом пришлось убедиться скоро.)

Священная Римская империя стала ручной тишайшей Австрией, отныне ей предстояла участь нетребовательной провинциалки. Участь завидная, если задуматься, но горькая для наследницы Габсбургов!

Роль эту передали Италии, допущенной в тесный круг победителей, в Совет богов, в высшее общество. Толпились счастливые новоселы — в муках рожденные государства, свежие блюда версальской кухни.

Над пересозданной географией, казалось, нависали две тени — непостижимая Россия, страна трагического раскола, сменившая в этом веке Турцию в самоубийственном амплуа «больного человека Европы». И Новый Свет в нашем окне, могучий заокеанский друг, «отец победы», высший арбитр.

Все ликовали. Каким-то чудом согнули Аттилу, сдержали, осилили и с непонятной бездумностью бросили — переживать свое унижение, не думая, как оно преобразится.

Все истерически торопились забыть о тех, кто остался гнить, готовились к пиру

во время чумы, потом его назовут веком джаза. Выжившие пустились в пляс, но радость была ненастоящей, нелепой, судорожной, бесстыжей. Словно плясали на краешке ямы, набитой доверху черепами, а яма все еще не полна, в ней хватит места еще для многих. И жизнь была такой же мнимой, такой же судорожной, как радость — незрячей, боящейся прозреть, увидеть опустошенный мир.

В этом грохочущем карнавале каждый оказывался канатоходцем, скользящим по натянутой проволоке. Только б за что-нибудь уцепиться! Как бы то ни было — устоять! Мечта об устойчивости томила и осеняла моих сограждан, она им заменила религию. Я видел: моя натурализация и есть приобщение к этой мечте, а может быть, даже и причащение, ибо мечта эта — сакральна.

Мне предстояло войти в этот быт, отлаженный и крепко сколоченный. Соседи солидны и благопристойны, знакомства не вызывают сомнений. Приятельство ни к чему не обязывает. Семья нерушима, и если даже супруга себе заведет аманта, он также обязан войти в семью, стать ее частью и принадлежностью. Вся жизнь, в конце концов, ритуальна — из этого следует исходить.

Ну что же, я готов соблюдать любые правила поведения. Однажды скитальческая стезя приводит к дому, и тайный голос подсказывает, что дом этот — твой. Мое агасферово естество должно уняться. Давно пора.

Мы выглядели с моею красавицей отменной супружескою четой. Париж нас принял вполне радушно. Я пребывал в распоряжении одновременно двух важных ведомств — дипломатического и военного. Поток, казалось, вошел в берега, хотя поездки по долгу службы (в Америке мне пришлось провести несколько месяцев) и отражались на настроении Саломэ. Она, как и Лидия в свое время, привыкла к тому, что каждая ночь — это любовное рандеву, и одинокая постель стала для нее наказанием. Решительно ничем не заслуженным.

Но я полагал, что мало-помалу она примирится с моими отлучками. Равно как с обилием моих дел — в те дни я к тому же взвалил на себя непредусмотренные обязанности, трудился в Международной комиссии. Россию выкашивал лютый голод, и надо было помочь его жертвам.

Похоже, и впрямь, как завывали на протяжении стольких лет наши косматые витии, Всевышний выбрал мое отечество, что-

бы оно явило миру образ страдания и долго-терпения. Не вижу какой-то иной причины того, что из века в век он топчет эту несчастную страну.

С Горьким мы встретились в Сент-Блазиене. Он был озабочен и растерян. Ленин отправил его лечиться — так объяснялся его отъезд. Не знаю, захотел ли пророк изобразить из себя гуманиста или, напротив, не захотел, чтоб поражение победителя предстало бы такому свидетелю, — как бы то ни было, мы увиделись. «Ты ли, сынок?» — «Я здесь, Алексей».

Встреча была суматошной, нервной и беспорядочной — слишком уж много хотелось выплеснуть нам обоим. Когда наступило время прощаться, казалось, что главного не сказали. А впрочем — так бывает всегда. Готовишься, ждешь, перебираешь наедине с самим собою все, что скопилось, теснит, тревожит, хочется излиться до капли, а в час свидания одолевают спешка, невнятица, косноязычие. Все остается в твоей кладовке.

И все же я видел, что он доволен. «Твердо идешь своим путем». Ох, так ли? Я возвращался в Париж, как никогда не уверенный в этом.

Выяснилось: я больше не буду слугой двух господ, не должен делить себя, и — к удовольствию моей женщины — сосредоточусь теперь на службе только в военном министерстве.

Это способствовало миру в моей семье. Не в моей душе. Ибо отныне я занимался мышинной канцелярской возней. И — не находил себе места.

С тоской просыпался я каждое утро, с тоской направлялся в свое бюро, с тоской переключивал бумажонки. Я спрашивал себя: что я делаю? И что мне делать? На что уходят, так глупо тратятся мои дни? Они убывают, они убывают, еще немного и ключ иссякнет. Они перетекают в недели, недели — в месяцы, их не вернешь. Я выцветаю, как мой мундир в пронафталиненном гардеробе. Париж на глазах терял свою магию, свое безотказное колдовство. Великий город, стократ воспетый, мне опостылел. И больше того — стал вызывать теперь раздражение.

Едва ли не с ужасом я ощущал, как обесцвечивается мой мир, куда-то бесследно уходят запахи, упругость движения, клеточка крови. Сердце мое не замирает в недавнем предчувствии — за поворотом ждет неожиданная бездна с ее таинственным

притяжением. Мелеет, уходит в песок все то, что только и делает жизнь жизнью, — я уже знал: жить надо опасно. Мгновенья слетают — одно за другим — и падают ежевечерне к ногам, точно оторванные листки худеющего календаря.

Все чаще я думал о Легионе. Все жарче тянуло в его котел. Я понимал, что сильно рискую, — так можно потерять Саломею. Уже после Лидии стало мне ясно: красавицы — плохие солдатки. Подобно тому как каждый день ничем не колеблемого покоя словно лишает вкуса и смысла мое пребывание на Земле, так день без любви, без дыхания счастья им кажется нелепой гримасой, ничем не оправданной тратой времени.

Я все понимал. И подал прошение.

12 ноября

Великолепный Однорукий — так называли они меня. Я был одним из них, но — над ними. Ибо на сей раз я ими командовал. Все они были мои солдаты.

Как видно, в почти сложившийся образ, в тип современного крестоносца я внес дополнительные краски. Похоже, я несколько удивил смесью семитской одержимости, вполне христианского миссионерства и чисто креольского мачизма.

А я называл их — «мои босяки». Жизнь потрудилась над этими судьбами, ее заржавелые жернова стремились перемолоть это мясо, но мясо оказалось кремнистым, неподдающимся, слишком жестким.

Кого не вобрал в себя Легион! Здесь были угрюмые мадьяры,

широкоскулые, коренастые, скупно ронявшие даже слог, здесь были запальчивые греки — эти за словом в карман не лезли. Впрочем, не проходило и года, они теряли свою речистость. Был немец, почему-то носивший чисто французскую фамилию, при этом — весьма аристократическую. Французов было тоже немало, по большей части с неясным прошлым. Но в прошлом здесь никто не копался, а сами они обычно помалкивали.

И правильно делали. Я уже знал, что склонных к исповедам надо побаиваться, или — точнее сказать — опасаться. После распахнутости частенько рождается смутная враждебность к тому, кто терпеливо выслушивал эти непрошенные признания и стал невольным духовником. Пусть вся вина его в том, что он имеет уши, — уже довольно! Один откровенный легионер, поведавший мне свою историю, едва ли не в тот же самый вечер вдруг вздумал раскроить мою голову. Конечно, он подлежал расстрелу, но я предпочел замять это дело — мне было ясно, в чем тут причина.

Немало было и казаков — донцов и кубанцев, один из них в конце концов стал моим ординарцем.

Меня это странным образом тешило. Характер не бывает безгрешным, ему почему-то всегда сопутствует какой-нибудь душевный изъян. Возможно, вдруг возникала тень казачьей дочери Лиды Бураго, строптивой жены — за долгие годы мы так и не сумели избыть наше супружеское соперничество. Взглянула б она, как преданно смотрят ее станичники на командира!

А может быть, и другие станичники вдруг возникали в моем подполье, в темном подполье подсознания — те, что сжигали дотла местечки, где копошились мои соплеменники, насильовали их женщин? Кто знает... Я не хотел себя ворошить. Благо, служа в обнимку со смертью, решительно все — кто раньше, кто позже — мы сплачивались в одну семью. Я знаю, что для чужого слуха девизы — не более чем фольга, но наш, нестареющий — «Честь и верность» — кое-что весил и кое-что значил.

Забавно вылеплен человек! Я говорю о самом себе. Однажды попалась мне в руки книжица известного в России поэта. Я много слышал о нем от Горького — он находился с Маяковским в крайне запутанных отношениях. Бесспорно, то был человек с дарованием, хотя я таких стихов

не люблю. Но речь не о том. Мне попались строчки, которые сперва распотешили, а после заставили загрустить. Восторженно прославляя массу, он восклицал: «Единица — ноль!» О, боги, всемогущие боги! Что надо было проделать власти (тем более со своим поэтом), чтоб он так панически испугался остаться наедине с собой, так истово возмечтал обезличиться? Неужто все, что дало ему небо и некая тайная высшая сила, — способность к волнению и соучастию, способность чувствовать так безраздельно, как не дано его собеседникам, способность сойти с ума от нежности, затрепетать от дальней мелодии — все это действительно «ноль»?

«Да, — говорит он, — именно так. Утратить себя, свое естество, слиться с рекой и стать в ней каплей, не отличимой от всех других — вот она, конечная истина. Тут-то поэт обретает цену».

Добром подобная аннигиляция, естественно, кончиться не могла. Недаром же он предпочел убить себя. Все это я понимал отчетливо. Больше того, всегда ощущал свою отдельность, всегда избегал любой массовидной версии жизни — и вот, подите ж! — обрел себя в армии. Она оказалась

моим призванием. Есть ли разумное объяснение столь озорной насмешке Творца?

Может быть, во мне пробудилось чисто российское тяготение к регламентированным будням, наша отечественная привычка к единоличной верховной воле? И эта потребность моя в Легионе, просто остаточный рудимент нашей исконной неприспособленности к несолидарному бытию, к демократической сепаратности?

И все же я отвечаю: нет. Если не говорить о любви, то, может быть, лишь одна независимость — и от людей, и от страстей — способна дать подобие счастья.

Мне выпало вечное многолюдье и редко выпадали часы, когда я оставался один, но только они воспитали душу, сделали ее твердой и зрелой. В любом муравейнике необходимо прокладывать собственную дорожку, не достижимую для остальных.

Мы все от рождения состоим из несообразностей и несоответствий. Мне привелось о том поразмыслить, когда меня ранили под Баб-Таза, когда мне снова, спустя два года, пришлось с простреленною ногой валяться в госпитале в Рабате. И, лежа на пружинистой койке, я то и дело усмехался: все-то доказываешь, дружок? В сущности, всегда

это делал. В юности я жарко надеялся, что все же смогу доказать России: я не чужак, не пришелец, свой. Что я, рожденный под русским небом, у самой русской из русских рек, такой же сын ее, как другие, такой же родной, как все ее дети.

Доказывал бесстрастной Канаде, доказывал Соединенным Штатам, что я способен укорениться, что я им нужен, что пригожусь.

Теперь убеждаю Прекрасную Францию, что я не какой-нибудь иноземец, «на ловле счастья и чинов», что я готов за нее отдать не только свою правую руку, теперь еще — и левую ногу. Не только последние дни своей молодости — я отдал ей трогательный комочек, который стучится под самой грудью в закрытую дверь и словно просит, чтоб дверь однажды ему открылась.

Что нужно еще Прекрасной Франции, не слишком радушной, достаточно сдержанной, чтоб я нашел в ней свое отечество, чтоб в ней, кичащейся эгалитарностью, мне не напомнили лишний раз про вечное мое чужестранство?

Похоже, я напрасно надеюсь. Прекрасная Франция не выносит, не терпит инородных людей. Роскошный космополитизм Парижа — только лукавая приманка. Все

ловятся на этот крючок. Я был не первым и не последним.

Прошло едва ли не восемь лет, прежде чем Франция снизошла. Я стал наконец ее гражданином. И все же — лишь подданным, а не сыном. Должно было много утечь воды и еще больше — пролиться крови, пока я перестал ощущать свою унижительную чуждость.

От этих не слишком веселых мыслей меня неизменно лечил Легион. Жить надо опасно — в который раз я убеждался, что этот вызов стал для меня непреложной истиной. Дело уже не в детском желании дерзко сыграть в сверхчеловека, дело — в неодолимой потребности. Все в той же неукротимой натуре, неведомо как и кем занесенной в сына нижегородского гравера. Была и еще одна причина — здесь, в Легионе, не тяготило мое — столь ценимое — одиночество.

Да, столько людей меня окружало, столько мгновенно рождавшихся связей, столько густо населенная жизнь, и — между тем — всегда и везде я охранял свою одинокость. Ее суровый морозный климат умел остудить лишь Алексей, которого я нечасто видел, и Легион, мой Легион.

Благодарю тебя, Легион. Благодарю за всех молчаливых, кто не умеет благодарить. За всех отчаянных и неумных, кого неспособность к ограничению вытолкнула из их среды. За то, что ты понял, в чем их проклятье, — бесплодность попыток вместить свое пламя в свою судьбу и в свои пределы. Благодарю тебя, Легион, за то, что ты принял их неприкаянность, за то, что из дичи сделал охотников. Всем нам ты дал приют и цель. Я трижды прощался с тобой и трижды я снова возвращался в твой мир. И десять лет ты был моим домом. Благодарю тебя, Легион.

Мне очень хотелось, чтоб эту песнь услышала Франция, да и страны, чьи дети стекаются в наши ряды. И неожиданно для себя я вновь, как это уже случалось, придвинул поближе стопку бумаги, старую пишущую машинку и застучал по ней своей шуйцей.

Думаю, что такому решению в немалой степени я обязан тем, что навестил Алексея. Причем не один, а с дочкой Лизой. Она уже стала хорошенькой барышней, ростом с меня — напомнила Лидию. Отнюдь не бесхитростное создание, не раз и не два оповещала, как ласков с ней итальянский отчим, как любит и лелеет он мать.

Я мысленно спрашивал сам себя: испытывает она хоть что-нибудь к странному собственному отцу — уже гололобому, сильно хромающему, с обугленной кожей, с пустым рукавом? Но так и не смог себе ответить.

Зато Алексей был взволнован и рад. Неужто он чувствует то же, что я? Что, в сущности, он тоже один и что одиночество отступает, когда мы рядом. Похоже, что так. Он мне признался, что снова понял, как я ему близок и необходим.

Меж тем в Сорренто, на вилле «Масса», была уже новая хозяйка, Мария Игнатьевна. Так и не знаю, какую из трех ее фамилий — Закревская, Бенкендорф или Будберг — уместней всего за ней закрепить. Она звала Алексея Дукой — я сразу подумал о Дюке, о Дуче. Ну что же, в этом маленьком герцогстве он мог бы стать просвещенным монархом. Но он им не стал, был слишком влюблен. Конечно, в его пятьдесят шесть лет было достаточно далеко до гетевской мариенбадской элегии, но эта невероятная жизнь была уже близка к заключительному самоубийственному повороту. А жить оставалось всего ничего, чуть больше одиннадцати лет. В сущности,

несколько мгновений. Однако каких непосильных мгновений!

Да и Мария Игнатьевна тоже не походила на Ульрику, нераспустившийся нежный цветок. Это была превосходная дама в летней поре своей притягательности. Нет, слово «дама» совсем не точно. Не зря Алексей называл ее Титкой. И озорное неженское прозвище, надо сознаться, ей подходило — была в нем мальчишеская легкость, в которой и жил секрет ее прелести. Впрочем, таков был только облик — основу сковали на диво прочной. Это я сразу же ощутил.

Мы подружились. И неслучайно. Я в ней угадывал нечто родственное — так же, как мне, ей чужд и неведом непреходящий страх перед будущим, преследующий соседей по жизни. Она не боится жить опасно и, может быть, даже хочет так жить. Та же бессонная неутолимость, та же потребность в вечном движении, та же готовность к переменам. Я чувствовал, моему Алексею выпадет много бедовых дней.

А он расспрашивал о Легионе, вздыхал: в кого ж ты такой атаман? Потом сказал мне, что не мешало б запечатлеть марокканский опыт, может родиться славная книга.

И вскоре я стал ее возводить. Именно так — я строил дом. Кирпич к кирпичу — слово за словом. Прошло полтора десятка лет с тех дней, как я бесшабашно сотрудничал то с Пятницким, то с Амфитеатовым. Пальцы мои одеревенели. Когда-то мне казалось, что фраза рождается в них еще быстрее, чем в голове, слова струились по всем фалангам, они взлетали над ожидающим их листом, как бабочки над лугом в цветах, — в майское утро, перед атакой.

Однако уж нет той бедной руки, тех пальцев, сжимавших ручку с пером. Тогда и не думал я о машинке. Глядя, как стучит по ней Лидия, был убежден, что я бы не смог вытолкнуть из себя хоть словечко под этот металлический стрекот.

Но мало-помалу дело пошло — стопка уменьшалась в размерах.

Все начинающие писатели не могут обойтись без пейзажей. И я в их числе. Нет, я не скромничаю. Я вновь ощутил себя дебютантом.

Я вызывал перед глазами картины, мелькавшие предо мной, точно хотел привязать к бумаге. Хотел, чтоб читатель увидел цвет той притаившейся равнины — смесь желтого и кофейного с охрой, увидел две

пальмы перед фортом, посаженные моею левой, светло-зеленые продолговатые, похожие на изделия плоды в оливковых рощах Марракеша. Услышал звук боевого горна, его чудесное благовещенье. А больше всего я хотел, чтобы он почувствовал запах мужской работы, радость отваги и дух свободы.

Возможно, я что-то сумел вложить в эти страницы своей истории. Андре Моруа провел свой век среди исполинов литературы, которых он воскрешал в своих книгах. И вдруг снизошел и написал несколько вступительных строк о книге солдата, давным-давно отвыкшего обуздывать слово.

Он написал — и он имел все основания написать, — что Легион стал моей религией. В какой-то мере все так и есть. Но лишь — в какой-то. Моей религией на всю мою жизнь осталась женщина. Она меняла свои имена, но сохраняла свою божественность. Поэтому я посвятил свою книгу прекрасной княгине Жак де Броли. Еще одной прекрасной княгине.

С недоумением и досадой я словно пытал самого себя: неужто меня так завораживает геральдическое сияние титулов? Неужто они так властно томят зависимое разночинное сердце?

Впору озлиться на эту слабость. Довольно. Я и сам излучаю фамильный свой блеск, *que le diable m'importe!* Великий писатель мне дал свое имя, он мой отец, он сам меня выбрал. Покойный российский президент — брат по рождению, роднее некуда. Пляска меж гением и злодейством.

Впрочем, довольно сводить с ним счеты. Спор с мертвецом никого не красит. Приятнее думать о доброй фее, княгине прославленного салона, в котором шлифуют свои языки и тренируют свои интеллекты самые модные златоусты. Где упражняются афористы и где вещает по понедельникам неподражаемый Поль Валери.

Сердечная жизнь французских дам весьма непроста: беречь репутацию стойких хранительниц очага, но в то же время всегда поддерживая созданную галльской словесностью славу прельстительниц и любовниц.

Что уж говорить о княгине? Она казалась недосыгаемой — обязывали и положение сегодняшней мадам Рекамье, и ее первенство в иерархии победоносных парижанок, — но это нисколько не умеряло головокружения жертв.

Я не был обделен женской лаской, хотя решительно все обстоятельства меня об-

рекали на поражение. Мой малый рост, хромота, однорукость. Я облысел сравнительно рано — череп стал гладким, как моя грудь. Которая тоже меня не красила. Я еще в отрочестве услышал, что дочери Евы предпочитают мужскую грудь, заросшую волосом, — это доказывает, что перед ними истинный первобытный вепрь, только что вышедший из пещеры. Все это оказалось вздором — требуются иные достоинства.

Не зря же я был любим так щедро необыкновенными женщинами. (Впрочем, есть ли обыкновенные женщины?) Музы художников и поэтов, увешанные своими жертвами, словно фамильными диамантами, утрачивали свою неприступность едва ли не при первом знакомстве. Все это вызывало толки, при этом — самые уморительные. Иные почти всерьез утверждали, что мне ворожит сам сатана.

Многие версии были пропитаны злобностью и откровенной завистью, вроде того, что в женском выборе присутствует некая извращенность. Другие были скорее лестными — во мне находили то обаяние, то остроумие, то занятность — порою и то, и другое, и третье.

Очень возможно, свои резоны сквозили в речах уязвленных недругов, равно как в суждениях симпатизантов. Но все это были только штрихи, намеки, в них не было главной догадки.

Но я-то, я знал, в чем суть удачи.

Каждую минуту общения женщина должна ощущать, что вы неустанно ее хотите. Что все, о чем вы ведете речь — о политическом скандале, о панике, охватившей биржу, о шумной премьере, о книге Пруста, — все это не имеет значения. А то, что сейчас вас разделяет, — дети ее, супруг и гости, любые условия и условности — их попросту нет, не существует. Нет даже этого строгого платья, в котором она вас принимает.

А существует одна лишь мысль, всецело овладевшая вами, которая непостижимым образом становится общей — мыслью двоих. А существует один ваш взгляд, и от него ей ни деться, ни скрыться.

Дамы, казалось бы, столь защищенные своей католической традицией и столь надежной броней родовитости либо своей буржуазной дрессурой, оберегающей мир в семье, привыкли к маневренной войне, к эшелонированной обороне, к своей европейской школе любви.

Но я сотрясал их твердыни древней ветхозаветной стихией страсти. Она и затопляла собою цивилизованное пространство, стремительно таявшее в размерах. Княгиня Жак де Брольи все больше чувствовала свою незащитность. Должно быть, под низкими потолками темных нижегородских комнат копился и набирал свою ярость наследственный сокрушительный дар тех невоздержанных, бородатых — кочевников, воинов, скотоводов, умевших барахтать жен и наложниц.

14 ноября

«Где ты, сынок?» — «Я здесь и не здесь». Когда я лежал со сквозным ранением, настигшим меня в июньский полдень под пыльным и грязным местом Баб-Таза, впервые пришла ко мне эта мысль. Вторично она меня посетила после еще одного ранения, когда я отлеживался в Рабате. Невесть откуда слетевшая мысль о том, чтобы скрыться в монастыре.

Доселе мои отношения с Богом складывались одновременно непросто и просто. Просто, ибо я без терзаний простился с верой далеких предков, с неумолимым суровым Яхве и так же легко и непринужденно вступил в просторный храм христианства. Непросто, ибо, почти привыкнув, что жизнь моя — всегда на кону, что вся она — в полушаге от смер-

ти, я вдруг ощутил свою уязвимость. Присутствие последней минуты, однажды ставшее несомненным, все больше взывало к моей бессоннице. Я спрашивал себя: не пора ли?

Не слишком ли долго и вызывающе я искушаю свою форту? Улавливал, что настал мой срок восстановить равновесную связь между моей земной первопочвой и этой непознанной высшей правдой, которую называют Небом.

Но этот порыв, внезапный, смутный, не слишком понятный мне самому, невнятная тяга к бегству от ближних, ушли, истаяли столь же быстро, сколь появились, — впрочем, иного я и не должен был ожидать.

И все же столь грозная необходимость призвать на выручку горний мир, услышать архангельские трубы свидетельствовала о несогласии между моим секулярным сознанием и странно взбунтовавшимся сердцем — этим сознанием оно тяготилось. Natura и разум жили недружно, скрытая жизнь и явная жизнь не существовали в ладу.

Когда-нибудь это несовпадение, достигнув своей критической точки, должно было вылиться на поверхность, но обошлось без потрясений. Установить надежную связь с Зиждителем и его наместниками нельзя

кавалерийским наскоком. Уже приходилось мне удивляться тому, как срastaются времена, как плотно сближаются столетия. И зерна, посеянные во мне задолго до моего рождения, скупая улыбка Бога сомнения, прищур и шепот не оставляющего, бодрствующего всегда собеседника, а пуще всего эта жгучая кровь, гудевшая памятью о Востоке, меня оторвали от дум о келье. Как видно, я был слишком семитом, чтобы сознание подчинилось тайной тревоге моей души.

Тем более, я снова был призван на дипломатический ринг. И поступил в распоряжение ареопага внешних сношений. Высокочтимое министерство геополитических игр, никак не терпящих отлагательства, велело мне отправиться в Штаты.

«В час добрый, — кашлянул Алексей. — Женись на богатой американке. В конце концов, всех ягод не съешь».

Совет разумный. Я полагаю, он был подсказан (или навеян) грешной историей моей дружбы с дочерью всемогущего Моргана. Мы вместе с ней собирали средства в пору голодного Апокалипсиса, который обрушился на Россию в самом начале двадцатых годов. Я со смущением вспоминал, что эта

трагедия поспособствовала нашему недолгому счастью. Быть может, это шествие смерти швырнуло нас обоих друг к другу — напомнить себе самим, что жизнь еще не выцвела, не сдалась.

То было обреченное чувство. Я так никогда и не смог забыться, не вспомнить, что я — всего капитан с обрубком вместо правой руки, она же — любимая дочь магната, который с недостижимых высот поглядывает на пестрый аквариум. А может быть, где-то в глубинах памяти торчала заноза — мое обручение с чикагской учительницей Грейс Джонс. Оно не прошло для меня бесследно — американки внушали опаску.

Я не последовал совету, не сочетался узами в Штатах. Хотя однажды почти решился прикрыть подвенечными белыми ризами свою опрометчивую греховность. А после — по воле двух министерств — я оказался на Ближнем Востоке. И несколько лет мне пришлось метаться в этой по-своему декоративной ориентальной паутине. Должен сказать, что она засасывает, хотя, бесспорно, связана с риском. Впрочем, работа всегда захватывает, когда ее делаешь на совесть.

Мне не пришлось отдыхать в Дамаске, тем более — в живописном Бейруте, но именно

в нем я жил взахлеб. Пожалуй даже — я был там счастлив. Каждый мой день напоминал туго натянутую тетиву. Поистине, ни минуты скуки!

Я чувствовал, что вызвал доверие. Не у одних шиитов Сайеда. Мне верили замкнутые левантийки, вкрадчивые, осторожные львицы, почти неприступные, словно застывшие на историческом перепутье. Меж ними — сама Назирха Джумблат, незабываемая Назирха, я видел лицо ее без чадры. Мне стоило немалых усилий однажды зимой вернуться в Париж.

И вот я опять на rue des belles Feuilles, в своем неприхотливом жилище нетребовательного легионера. Опять в Париже, опять одинок, как одинока моя рука, тоскующая без покойной сестры.

Откуда взялась такая хандра? Я знал причину этой напасти. Еще никогда я с такой болезненностью не ощущал своего сиротства. Я вдруг безжалостно осознал: я потерял моего Алексея. Он все-таки вернулся в Москву.

Что подтолкнуло его принять это безумное решение? Должно быть, все то же — власть сюжета над жизнью живого человека. Он понял с жестокой, студеной трезвостью:

извилистая дорога заканчивается — ее необходимо обрмить. Великий русский писатель обязан если не жить, то хоть умереть в своем непостижимом отечестве. В конце концов — время определиться. Не может столь убежденный певец русского рабочего класса навеки поселиться в Сорренто, в стране, управляемой Муссолини.

И он отправился в отчий край на встречу с русским рабочим классом, с колхозным крестьянством и с верноподданной славной советской интеллигенцией, согласной послушно признать его первенство. В свой новый великолепный дом в когдатошнем особняке Рябушинского, на дачу в Горках, на дачу в Крыму, которые с молниеносной скоростью стали местами его заточения. В этом маршруте навстречу смерти была роковая предопределенность.

Я оказался один на свете. Я тосковал. И я женился.

Я сознавал, что этот брак в немалой мере был продиктован и несомненным упадком духа, и моим сумеречным состоянием. Возможно, сказалось и то, что настали тридцатые годы и время сгустилось, — я слишком был чуток к атмосферным колебаниям века.

Графиня Комбетт де Комон, безусловно, была не самым удачным выбором. Я с грустью должен в этом сознаться, хотя ни за что не хотел бы задеть даже и тенью неблагодарности решительно ни одну из тех, кого я любил и с кем был близок.

Но я и не думаю произнести ни одного нелестного слова. Просто мы оба пренебрегли законом естественной совместимости.

Все звезды тут сошлись против нас. Не столько колдовство этой бестии, не эта анафемская манкость, а чертова молния, в нас угодившая. Мы словно приняли на себя адскую серу за всех соблазненных.

И я, и она обреченно почувствовали: ни трезвость, ни опыт нам не помогут. Их словно сдула одним щелчком сила взаимного притяжения.

Вместо того чтоб сказать ей попросту: «Будьте моей, — я прошептал: — «Будьте моей женой». И что же?

Вместо того чтоб ответить: «Зачем? Мы обойдемся и без обряда, — она ответила: Разумеется».

Нас слишком ушибло, ударило током, метнуло друг к другу, и рассуждать мы оба были не в состоянии. Я вновь убедился: нет чуда на свете новее, чем женская нагота.

Графиня Комбетт де Комон без усилий могла очаровать человека, и не желавшего быть очарованным. В ней была стать, была порода, к тому же она умело орудовала бойким находчивым язычком. Но, кроме ее графского титула, за ней возвышалась ее семья, могущественный промышленный клан. Новая спутница моих дней была дочерью Делоне-Бельвиля. Слишком богата и сановита, слишком уверена, что Вселенная должна склониться пред этой избранностью. Казалось, нам повезло, мы счастливы, но счастье, которое обесцвечивается, едва светает, осуждено — дыхание у него короткое, прерывистое, почти астматическое. Единая судьба так не дышит. Когда мы утолили наш голод, стало понятно, что нам с нею нечем заполнить течение общего времени. Вместе нам нечего было делать. Отъезд на серьезный срок в Легион помог мне вернуть равновесие духа, но не мое семейное гнездышко.

Я был, безусловно, разочарован. Меж тем неприметно, совсем бесшумно настала моя рубежная дата. Она меня будто подстерегла, неожиданно выскочив из засады. И я очнулся, прозрел и понял: это случилось. Мне — пятьдесят.

Шагреновая кожа сужалась. Смириться с этим было невесело. Да и непросто. Во мне kloкотала мятежная молодая кровь. Я называл себя ветераном, но не без некоторого кокетства. Я верил, что все еще впереди.

Возможно, я слишком спешил доказать себе, что я хозяин своей судьбы. Способен немедленно изменить ее. Но, в самом деле, с какой-то мальчишеской нерассуждающей безоглядностью нырнул я в омут нового брака. Не было рядом со мной Алексея, чтобы напомнить: «Всех ягод не съешь».

И вновь все стряслось почти мгновенно. Всего лишь неделю назад мы с ней встретились в ложе оперного театра. Я был приглашен туда нашим консулом, она оказалась там вместе с другом.

И сам не пойму, как все это вышло, когда под восторженный рев партера, приветствовавшего триумф гастролера, я попросил ее: «Дай мне сына».

Она ответила: «Не сомневайся».

Теперь-то я хорошо понимаю, что неустанно мечтал о доме. Мечта эта так и осталась мечтою. Скорее всего я был криво задуман — не мог себя разделить ни с миром, ни даже с возлюбленной — приговорен стержень одиночества своей жизни.

Сегодня, мысленно пробегая по странным, причудливым ступеням своей матриониальной карьеры, я только горестно усмехаюсь. Особенно когда наблюдаю ее социальные метаморфозы. Брачные помыслы начались с нижегородской пропагандистки. Моей невестой без малого год была чикагская амазонка. Женой моей стала полковничья дочь. Затем появилась графиня Черных, и неизвестно, чем бы все кончилось, если б меня не послали в Россию. Должно быть, для того чтобы там, под грохот обрушившейся империи, нашел я грузинскую княгиню, мою элегическую жену. Потом, когда я остался один, я мог легко потерять свободу в тенетах еще одной княгини, незабываемой Жак де Брولли, которой посвятил свою книгу. Но отдал себя — по неразумию — графине Комбетт де Комон, чтоб затем, спустя лишь два года, пойти под венец с андалусийской патрицианкой.

Что означал этот хоровод, полет по иерархической лестнице? Неужто лишь месть за Большую Покровку, за комнаты с низкими потолками? За то, что заложенной во мне мании скитальчества и перемещения с детства предписывали оседлость? Нет, нет,

и дважды, и трижды — нет. Я подчинялся лишь зову страсти, трубно гремевшей во вздутых жилах.

На этот раз я выбрал испанку. Она не уступала француженке ни своей статью, ни геральдикой. Как всех пиренейских аристократок, ее при рождении наградили длиннейшим многоступенчатым именем. Слишком ветвисто! И я ее звал совсем попушкински — Инезильей. Возможно, оттого, что она, как юная пушкинская престлестница, была севильянской и рифмовалась с городом, где обрела свою жизнь.

Отличное место явиться на свет! И все-таки вряд ли б оно так прославилось, если б ему не повезло — некогда Бомарше его сделал фактом великой драматургии, а упоительный Россини смог навсегда превратить в мелодию.

Город поверил обоим титанам. Поверил и в собственную избранность, и в то, что он стал столицей любви. Даже воздвиг превосходный памятник неутомимому идальго за то, что того любили женщины, а он был истинным гладиатором, не ведавшим по ночам неудач.

Ну что ж, Инезилья не раз говорила, что, если б я был ее земляком, то мог бы рассчи-

тывать на монумент, ибо на этом ристалище равен дону Мигелю де Маньяра.

Она и сама была не промах. Ничем не унижу ее предшественниц, если скажу, что она как никто умела почувствовать и разделить пленительное бесстыдство желания. Да и собой была недурна. Высокорослая (высокие дамы были особенно мне по вкусу), стройная, с легким и гибким телом, с черной копной на гордой головке, с птичьим андалусийским носиком (чтобы, не дай бог, ее не обидеть, можно назвать его орлиным), с горящими глазками — даже ночами они пламенели, как два светлячка.

Была исступленной католичкой. Это ей вовсе не помешало два года спустя расторгнуть наш брак. Вернее сказать, не воспрепятствовать возникшему у меня стремлению вернуться в прежнее состояние.

Нас разлучили тридцатые годы с их политическими баталиями и обострившейся конфронтацией — все мы в те дни посходили с ума. При всей моей офицерской лояльности я издавна опасался в политике особенно рьяных милитаристов. Шокировало ее увлечение личностью Примо де Риверы, уже отправленного в отставку. Потом ее качнуло к фаланге. Сперва я над этим только посме-

ивался. Я был благодарен ей, ибо она исполнила свое назначение — в положенный срок родила мне сына. Но путь от счастья до катастрофы был слишком краток: лишь десять дней провел мой мальчик на этом свете. Мы не сумели ему передать собственной мощи и воли к жизни. Наверное, я был несправедлив, но я винил ее в том, что случилось. Я места себе не находил. Настал мой черед почти мазохистски мысленно воскрешать в своей памяти крохотное смуглое тельце и повторять без надежды, без смысла: «Где ты, сыночек? Сыночек... сыночек...»

Я до сих пор не сумел примириться с тем, что со мною умрет мое имя. Зато раздражение и враждебность к моей Инезилье давно улеглись. Все крики о будущем Испании, все споры о закате Европы забылись и исчерпаны временем. Несколько лет назад в Мадриде я встретил носатую старуху, я попытался их оживить, вспомнил о друге своем Мальро, который сражался в испанском небе в интербригадovской эскадрилье. Сказал, что, когда бы я ни был на службе и мог распоряжаться собою, я был бы с ним рядом, громил франкистов.

Моя Инезилья лишь усмехнулась: «Андре Мальро — прекрасный писатель. Эр-

нест Хемингуэй — еще лучше. Сражались они за правое дело. Какое счастье, что их разбили».

Мне трудно было ей возразить. Она жила в богатой стране, гордящейся своим процветанием. Ален Рене уже показал свою картину «Война окончена».

Я промолчал. Я вновь подумал о том, как мы шли, себя не щадя, по знойной марокканской пустыне. Уверенные в высоком значении своей цивилизаторской миссии. Надеюсь, что находим друзей. Но обрели мы одних врагов, и что грозит нам, еще неизвестно. Я думал о бурном безумном веке, в котором пронеслась моя жизнь. В нем все смешалось, перевернулось, стало вверх дном, и так беззастенчиво, так издевательски все сошлось, чтоб обесмыслить мою судьбу. (Не ограничившись ею одною.)

Я видел Гитлера в ярких доспехах спасителя Европы от варваров и Сталина в роли антифашиста. А что еще предстоит увидеть, если мне выпадет два-три года прожить на свете? Лучше не думать. Простившись навсегда с Легионом, я вынужден заниматься политикой. Я стал удачливым дипломатом.

Я очутился — и стал своим — в самодвольной корпорации, в этом кругу само-

званных умников с их будто приклеенными к губам всепонимающими улыбками. Им все известно и все открыто. Нет грязи, предательства, вероломства, есть государственные расчеты. Нет нерукопожатных мерзавцев, нет омерзительной дружбы с подонками — есть лишь необходимый баланс. Все прочее — жалкий вздор простаков и политический инфантилизм. Так полагают эти стратеги.

Господи, как я их всех ненавижу. Тошнит. И от всей этой камарильи. И, кстати, от себя самого.

Уже много лет я веду условную фантомную жизнь. И в чем ее суть? Возможно, круглей отчеканить формулу, которая подменяет истину. Снова все та же «система фраз», увиденная моим Алексеем, описанная им в «Самгине». Да он и сам стал ее заложником. Куда ж ему, бедному, было деться?

И все мы — кто больше, кто меньше — заложники. Моя профессия — это ложь. Та узаконенная ложь, которая помогает мириться с ложью не вполне легитимной. Но — заполняющей повседневность.

Быть может, чтоб она отступила, нужно остаться легионером, шагать дорогами

Марракеша и научиться не прятать взгляда, встретясь с усмешкой небытия.

Мадридский полдень сиял и пел. Я снова оглядел Инезилью. Подумать, только эта грузная злока когда-то подарила мне мальчика! Где ты, сыночек? Я будто увидел смуглое обреченное тельце. Меня затопила нерассуждающая, давно не испытанная тоска.

От старой всевидящей совы мое состояние не укрылось. Не то усмехнулась, не то вздохнула.

15 НОЯБРЯ

В Нумидии мы обрели равновесие после двухлетней войны в Марокко. Жестокое сопротивление рифов стоило нам немало крови. В Алжире мы чувствовали себя среди друзей, на законном отдыхе.

Но именно здесь я потерял донца-ординарца — его зарезал остервенелый абориген. В жаркий и душный день похорон я сделал то, чего избегал, — напился самым постыдным образом. Отлично я знал, что такое средство справиться с подступившей слабостью мне никогда не помогало. Не говоря уже о том, что Однорукий Великолепный должен всегда служить образцом. Но ничего не мог с собой сделать, не мог заглушить ни боли, ни злобы.

Думал об этом несчастном малом, к которому успел привязать-

ся, думал об этой безмозглой доле, смолоду меченной знаком беды. Какая губительная звезда стояла над заброшенным куренем, в котором он однажды родился? Чем провинился перед людьми, перед своим казачким богом юный станичник, бедный дубок, которого русское братоубийство вырвало с корнями из почвы и понесло, понесло по свету, пока не зарыло в алжирской земле?

Смерть издавна составляла существенную, важнейшую часть моего ремесла. Я приучился о ней не помнить. Знал, что душа от подобных мыслей сразу становится беззащитной. Единственное их назначение — внушить, что Начало еще бессмысленней, еще бесплоднее, чем Конец. Что каждый новый прожитый день делает попросту уморительными наши геракловы усилия. Цена их оказывается ничтожной. Здание, некогда нами задуманное, складывавшееся из каждодневной работы и наконец-таки возведенное, всего через несколько лет оказывается грудой уродливых камней. Их сносят и на вздохнувшей земле, избавленной от опостылевшей башни, возносят новейший воздушный замок. Впрочем, по прошествии времени он давит и плю-

щит усталую почву ничуть не меньше своей предшественницы.

Я навсегда запомнил тот день. Хотя, казалось, тридцатые годы вполне могли его затоптать.

Они и пытались это сделать своими потными сапогами. (Это мне вспомнился Томас Манн. «Знаете, чем пахнет фашизм? Потными сапогами в высшей степени».) Но если спустя десятилетия я вспоминал нелепую гибель русского казака в Алжире, то в этом была своя неизбежность. Не только неподвластное чувство — ко мне то и дело поворачивалась своим искаженным ликом эпоха. История шла в одном направлении. И чем мы громче славили разум, тем больше потворствовали инстинктам.

В прогнивших подворотнях Европы, и прежде всего во взорванном орднунге озлобленной разбитой Германии, отпущенной глупыми победителями вариться в сатанинском котле ее национальной обиды, рождались фанатики и негодяи. И вскоре все эти канатоходцы, паяцы и ярмарочные плясуны, как по команде, вышли на площадь. И некий фокусник взмахом палочки почти мгновенно преобразил век джаза в век трехгрошовой оперы. Но какова цена

этой музыки — никто не сумел тогда угадать.

В самой середине десятилетия окончил свой век генерал Дрейфус. «Мои страдания были напрасны», — проговорил он в предсмертный миг. О чем он думал в эту минуту? О том ли, как сорок лет назад в единый миг обрушилась жизнь? Об этом празднике антисемитов, когда решительно все коллеги, соратники, друзья по оружию его отругали и отторгли, объединяясь в непонятной привязанности к изменнику, каину и прохвосту? О трибунале, о приговоре, о десяти годах, проведенных на Чертовом Острове? О Золя? О запоздалом своем оправдании, которое не принесло уже радости? Пожалуй, не только ему, но и Франции.

Я знал, что на вновь обретенной родине всегда хватало своих юдофобов, их столько же, как в любой стране, а все же я был обескуражен, увидев, сколь много здесь почитателей у нового любимца Германии. Достаточно было ему поклясться, что он изведет проклятое семя, — и вот за ним идут миллионы.

Порой перед твоими глазами вдруг неожиданно оживает то, что казалось давно погребенным на самом дне твоего сознания,

то, что однажды забыл запомнить. Горячий нижегородский день и раскаленная паперть у церковки. Черная высохшая монашка. Она крестилась с такою истовостью, что попросту становилось страшно за эти костяные персты — еще раз хрустнут и оторвутся. Она воззрилась с какой-то яростью на черноволосого мальчугана — мне не исполнилось и шести — и прошипела свистящим шепотом: «В Бога не веруешь, вражий сын?»

До самого сна я все гадал, чем так досадил ей и почему она меня сразу же возненавидела? Не раз, возвращаясь к кончине Дрейфуса, я вновь, как в детстве, хотел понять почти мистические причины тысячелетней неприязни. Печально, но ненависть может сплотить в единую семью племена вернее, чем надежда Христа объединить их своей любовью.

Возможно, тут дело в тайной враждебности детей к родителям, в их желании скорее разорвать пуповину, связывающую с родною плотью. А может быть, упрямым скитальцам не могут простить их стойкой способности жить вопреки этой нелюбви, брести и дальше своей дорогой, ведущей то на костер, то под газ?

Как знать?.. Я легко отрекся от веры, которой, впрочем, не обладал, был сыном России, стал сыном Франции, усвоил, что мне придется мириться со смутной враждой иноплеменников; я понимал, что этой враждой вызвана их готовность ждать света от римского ликторского пучка и от берлинской паучьей свастики. Можно было со вздохом посетовать, можно было и подивиться, но — не обманываться в реальности.

Францию возглавлял Лаваль. Овернская медвежья хватка. Дородный, с загорелым лицом исконного уроженца юга. Тому, как он выглядит, придавал первостепенное значение. Всегда и всюду при белом галстуке. То был его отличительный знак. Наивная и, однако же, действенная попытка создать персональный образ.

О нем ходило много историй. Однажды он сказал собеседнику: «Знаете, я все-таки отдал Абиссинию Муссолини. В молодости мы оба были социалистами, это роднит». Должно быть, вручая Гитлеру Францию, он снова растроганно умилился: все же арийский социалист.

Не странно ли? В этом холеном теле таилась не заячья душа. Когда уже после конца войны его приговорили к расстрелу, он вы-

шел на казнь в своем белом галстуке и отдал команду солдатам «Огонь!».

Но вряд ли он мог предвидеть исход в коварные тридцатые годы. Они бесповоротно влекли нас к самому страшному кровопусканию, которым запомнится этот век, а мы все надеялись увернуться. И верили, что это возможно.

Однако во мне это десятилетие оставило мету еще больнее, чем то, что последовало за ним. Есть мировые катастрофы и есть наши личные трагедии — вторые не заживают дольше.

В тридцать седьмом моя дочь, моя Лиза, уехала с мужем в Советский Союз. Она нашла наилучшее время, чтобы вернуться на землю предков.

Мы жили розно, ни ее мать, ни ее отчим, очень успешный и предприимчивый флорентиец, не помешали ей заболеть этой идиотической хворью, косившей западных интеллигентов, — их увлеченностью сталинским раем. Конечно, нацистская угроза в чем-то оправдывала безумцев — была тут и скрытая надежда увидеть некую встречную силу, — но суть заключалась не только в этом. Весь пафос этой глупой влюбленности носил характер не прагматический — о,

нет! — в нем бурлила своя романтика. Самоуверенная буржуазность, в которой пребывала Европа, могла оказаться жизнеопасной для якобинских идеалов. В особенности — для братства и равенства. Почти пуританский лик России внушал надежду на их спасение.

Я объяснил своей мудрой дочери, что вовсе не имею намеренья бросить хотя бы малую тень на чувство к России — больше того, я его вполне разделяю. Но есть драматическое различие между страной и государством. Ибо российское государство не станет ни при каких обстоятельствах слугою создавших его людей. Лишь может позволить им — в лучшем случае! — жить на большом от него расстоянии. Нелепо — рассчитывать на него, бессмысленно — звать его на помощь, опасно — подпускать его близко.

Я несколько раз повторил: перед ней — красноречивый итог революции. Бердяев в изгнании, Сталин — в Кремле. Но все аргументы недорого стоят, когда есть желание обмануться. Тем более что дочь моя стала женою советского дипломата.

Последний раз мы столкнулись в Риме, в кафе, я сидел от них неподалеку. Я неприметно ей улыбнулся, она неприметно кач-

нула ресницами. Она была с мужем и, очевидно, оберегала его от встречи с подобным родичем — соглядатаи могут быть всюду, риск неуместен.

А дальше все было как в скверном фильме. Спустя много лет привелось узнать — весь следующий день моя Лиза искала меня в столичных гостиницах, во всех побывала, кроме одной — именно той, в которой я жил!

И эта прощальная наша не встреча, и эта постыдная конспирация, к которой мы вынужденно прибегли, немислимая между отцом и дочерью, казалось, могли ей раскрыть глаза, могли изменить ее решение!

Но нет, ничего не изменили, а может быть, все уже было поздно — есть муж, есть ребенок, «игра ваша сделана», как говорят в таких ситуациях каменносердые господа.

Я долго не мог ей простить отъезда. Когда получил через четверть века письмо от нее, ответил ей холодно и неумно, поныне мне стыдно. Спросил: почему она не писала? Мог бы сообразить — почему. Но слишком сильна была обида за то, что она меня не послушалась и сделала так, как считала нужным. Недаром она была моя дочь!

Мне было худо в то лето в Риме, я понимал: мы больше не свидимся. Я остаюсь на Земле один.

Ибо всего за какой-то год до этой разлуки стряслась другая — я потерял моего отца.

Не было в моей жизни месяца страшней июня тридцать шестого. Вся моя неотступная боль, сдавленная железным обручем, сопровождавшая каждый мой шаг, ни разу не выплаканные слезы, вся потаенная тоска, созревшая за десятилетия, все, что в душе моей было смутного, незаживающего, сквозного, все точно хлынуло вдруг наружу.

Где ты, отец? погоди, не бросай меня. Не оставляй меня одного. И слышал ответный негромкий голос, знакомый призыв: «Где ты, сынок?»

«Где ты?» Я здесь, где же мне быть? Передо мною твои глаза дивной апостольской голубизны. Вижу и легкий румянец щек, они необратимо стареют, упругость, словно натянутой, кожи куда-то ушла, они оседают.

Как дать тебе знать, что с прежней дрожью я горестно думаю о тебе, что нежность меня переполняет и перехватывает дыхание?

Как спитя тебе в твоей пустыне, в твоём государственном саркофаге, и снятся ли

тебе наши сны? Видится ли тебе Земля, приговоренная планета? Я тоже скоро ее оставлю вслед за тобою, мой дорогой.

Доволен ты тем, как прожил жизнь? Как все старики, и уж тем более как все легендарные старики, ты, верно, не раз подводил итоги. О, безусловно, — сложилась на диво! Но только простодушные люди, безмерно простодушные люди способны испытывать упоенье. Где почерпнуть способность радоваться, когда постигаешь, что остается несколько дней или недель? Хваленая наивность творцов вдруг испаряется, вдруг обнаруживаешь, что мудр, как престарелый змий. Что толку в дарах и щедротах жизни, если она так страшно кончается?

Именно так и произошло. Старость на родине обернулась, в сущности, утратой свободы. Шутки с отечеством нашим плохи. Тяжко пожатье его десницы. А от объятий испустишь дух.

На горе свое, на свою беду, не только за письменным столом — и в жизни ты был человеком сюжета. И ощущал необходимость поставить точку в его конце. Сюжет оказался лукавой ловушкой, конец сюжета — дрянным концом.

Я долгое время не мог смириться с отъездом Алексея в Россию, потом осознал его неизбежность.

Смех да и только! Но мне, его сыну, пасынку, то и дело казалось, что чувство мое сродни отцовскому. Оно позволило мне и понять и извинить его многие слабости, уже непонятные в этом возрасте — его неизжитое тщеславие, готовность к женственной экзальтации и стойкое уважение к силе — лишь этим я мог себе объяснить его увлечение Ульяновым и молчаливый сговор со Сталиным.

Не раз и не два меня посещало неодолимое искушение крикнуть, что он не может, не должен, что он не смеет служить убийцам. Но стоило хоть на миг представить, что довелось ему испытать в роли почетного трубадура, ему, отлично знавшему цену любым политическим вероучениям, всем этим скользким «системам фраз», — и хочется зарычать от муки. Не заслужил он такой судьбы!

...Я перечитывал все, что вышло в те годы из-под твоего пера. Во мне эти страшные призывы покончить с «несдавшимся врагом» уже не вызывают ни гнева, ни злости, ни даже чувства стыда. Ведь сам ты был

сдавшимся врагом рябого бандита и из-увера. Тебя, кто был мне отцом, не стало. А тот, кто согласился звучать еще одним лающим подголоском этого остервенелого хора, не был тобою — лишь темным подобием того, кого я знал и любил.

Старость твоя была кошмаром, поистине сатанинской смесью из пустоты, ожидания смерти и пытки официальным признанием, почти издевательским превращением живого человека в реликвию. Наш город был окрещен твоим именем, им назван был и театр Чехова, его носили — по высшей воле — главные улицы и проспекты.

Но все эти улицы и города были заполнены нищим людом, приученным к казарменной жизни. Он тоже привык с молитвенным видом упоминать надоевшее имя, сакрализованное тираном. Твой сын, мой несчастный названный брат, ушел при загадочных обстоятельствах. Твоя любимая изменила, стала подругой английского классика, которого ты не выносил, — жизнь давно уже стала адом.

Ты умер в июне тридцать шестого, а уже в августе состоялся первый из московских процессов.

И это не было совпадением. Я был убежден, что ты мешал глухому кремлевскому

правосудию. Мешал уже тем, что и теперь, казалось бы, совсем прирученный, способен произнести свое слово.

Я знаю, что ты бы его произнес. Что ты бы нашел такую возможность. Однажды наступает предел страху, терпению, благо-разумию, заботе о собственной безопасности. Но дело даже не в этой уверенности. В конце концов, какое значение имеет все твое слабодушие, если никто на этом свете не был так близок, так кровно родствен? Мать и отец? Братья и сестры? Даже смешно вас сопоставлять.

Кто не греховен? И чем я лучше? Если я встану пред Божьим Судом, что я смогу ему ответить? Да, Господи, раз уж ты есть — ви-нюсь! Я не злодей, не палач, не насильник, но человек — и этим все сказано. Сколь-ко же зла из меня изошло! Были не только грешные мысли, были и грешные дела. Я, не желая того, совершил их лишь потому, что жил на Земле.

16 НОЯБРЯ

Шли осторожно. Друг за другом. Песчаная дорога глушила наши чуть слышные шаги. Взбесившееся смуглое солнце — такое, наверное, в одном Марракеше! — безумствовало над головами. Они гудели, трещали, раскалывались — легкие широкополые шляпы из светло-зеленого полотна уже не спасали от этого жара.

Чуть поодаль робко жались друг к другу несколько финиковых деревьев, за ними опасно притулилось чье-то покинутое жилье. «Отличное место для засады», — только и успел я подумать. В то же мгновенье нас обстреляли.

Средь тех, кто хоронил Алексея, была и Мария Игнатьевна Будберг. Когда стало ясно, что нет надежды (ее, безусловно, и быть

не могло), власть пригласила Титку к одру. Сталин любил такие жесты. Впрочем, на сей раз все было проще. Думаю, речь шла об архивах.

Наверняка она все отрицала. Конечно, и ее собеседники печально разводили руками: на нет и суда нет, это понятно. Однако ж, если архивы возникнут, такая неискренность не найдет ни понимания, ни оправдания.

Я не пытался узнать от Титки про эти последние часы. Я знал, что она ничего не скажет. Коль скоро она ухитрилась так долго скрывать от отца, что уже давно стала гражданской женой Уэллса, то из нее и звука не выжмешь.

И только четверть века спустя, пять лет назад, когда мы повидались, я задал — нет, нет, не прямой вопрос! — я невзначай обронил намек, обозначавший мой интерес.

Но то был неудачный момент для откровенного диалога. Совсем недавно в далекой Мексике на волю вышел Рамон Меркадер. Тот самый, который своим альпенштоком разворотил голову Троцкого.

Теперь его путь лежал в Россию. Его там ждала Золотая Звезда Героя Советского Союза.

На мой нерешительный полувопрос она не дала и полуответа. И мне оставалось только гадать, сдала ли Титка архивы отца. Впрочем, я знал: ничего не скажет, вильнет своим хвостиком, ускользнет. Она давно уже уяснила: на каждую говорливую даму найдется свой Рамон Меркадер. Такая держава не церемонится. Чувствительность у нее не в почете.

Об этом несчастном испанском олухе я почему-то думал не раз. Сам не пойму, по какой причине. Возможно, потому что он вышел из дьявольских тридцатых годов. Странно! Нет-нет и я возвращался к мыслям об этом обломке трагедии.

Думал о том, как он меряет камеру мелкими нервными шажками, как упирается взглядом в стены, как тянутся дни в мексиканской тюрьме, как тягостны весенние ночи, когда в этот ад доносится запах воспрявшей обновленной земли. Голову дашь на отсечение — она пахнет страстью и женским телом.

О чем он вспоминает в бессонницу, в десятый, в сотый, в тысячный раз? О том, как он впервые замыслил сделать счастливым вонючий глобус? О том, как встретил своих наставников? О том, как отдал себя в их руки?

Или — особенно часто — о плотном, всегда улыбчивом человеке, который из его гордой матери сделал не только свою любовницу, но просто послушную собачонку, готовую ради него пожертвовать решительно всем, даже собственным сыном? Впрочем, и сына он подчинил своей всеокрушающей воле.

И вновь и вновь — этот полдень в августе, багровое небо Койоакана, старик с проломленной головой в кровавой луже, зовущий на помощь. Руки охранников на затылке, собственный рыдающий крик и фыркающее хрипение двигателя — мать, ожидающая в машине, не выдержала, жмет на педаль, срывается с места и исчезает, спасает этого сатану, который сидит на заднем сиденье.

Да, выходец из грязных тридцатых! Мне повезло, последние годы этого душного десятилетия я снова проводил в Легионе, где каждый новый день мог закончить причудливый сюжет моей жизни. И все же именно Легион помог мне выжить, ибо во Франции мне не хватило бы кислорода.

Я помню, как вернулся в Париж. Мне стало в нем худо, едва я увидел этого двуликого Януса. С одной стороны — показная

беспечность, с другой — разъедающий тайный страх.

Шли первые дни тридцать девятого. Мы встретились с Гизом Лотарингским. Случайно, при выходе из министерства. И оба обрадовались друг другу. Немудрено — столько лет не виделись. Решили, что пообедаем вместе.

Китаец стоял, прикрыв глаза, и молча, ничего не записывая, при этом ни разу не переспросив, словно вбирал в себя наш заказ. Он точно не замечал двух полковников, но в этом не было невнимания. Напротив — предельное уважение. Он слушал и в то же время отсутствовал, ничем не стесняя своих клиентов, не отягощая собой.

За окнами тлел январский город. Я чувствовал, что отвык от него. Украдкой я оглядывал Гиза. Естественно, он не стал моложе, однако не слишком переменился. Все та же коломенская верста, та же надменная посадка сравнительно маленькой головы. Но взгляд стал тверже, непримиримей, и снова меня, как знойным ветром, вдруг обдало дыханием силы.

Меж тем — не стоило заблуждаться — карьеры наши не задались. Мы все еще в полковничьем чине. Ровесники нас обош-

ли, преуспели, давно бригадные генералы, а кое-кто взлетел еще выше. Похоже, к нам обоим относятся с какой-то опаской и настороженностью.

Неудивительно, я — чужак. К тому же на карте России два города имеют прямое ко мне касательство. Один из них носит имя отца, это еще не столь подозрительно, зато другой носит имя брата, первого русского президента. Совсем не добавляет доверия. Но вроде бы Гиз безукоризнен, белее лилии — в чем же дело?

— В дурном характере, — бросил Гиз.

Мы медленно подняли фужеры. Было противно, было тошно. Какое счастье, что Легион продлил еще летом мое пребывание в его рядах и я — возвращаюсь! Лишь бы не видеть, как мы сдаем — с такую легкостью — всех союзников.

Поблизости, в разделенной Испании, уже испускала дух Республика. Если бы не мое офицерство, я воевал бы там, рядом с Мальро. И даже боязнь, что я окажусь в одной упряжке с московским диктатором, меня не сумела бы удержать — Гитлер не оставляет выбора. Ясно, что скоро он будет в Праге. Чехословакия после Мюнхена дотягивает последние дни.

Неужто Франция не понимает, что ей грозит? Не понимает. Либо не желает понять. Да, разумеется, слишком привыкла к послеверсальскому комфорту, но самое главное — нужно сознаться — у Шикль-грубера много сторонников. Кому-то он видится прочным щитом от скифского социализма России, других околдовывает мускулатурой, третьих — антисемитским разгулом. Я уже успел убедиться в том, что Прекрасная Марианна заражена этим сладким недугом.

Мне снова вспомнился возглас Дрейфуса, его предсмертный вздох: «Сколь ни грустно, мои страдания были напрасны». Он прав. Все вернулось и все воскресло. Кроме, понятно, Эмиля Золя. Как он им крикнул в лицо: «Каннибалы!» Нового рыцаря что-то не видно, второе «J'accuse» не прогремит.

Неужто нас так парализовали угрозы ярмарочного шута?

Гиз Лотарингский усмехнулся:

— Он знает что делает. Мы беззащитны.

Я изумился:

— Вы полагаете?

Да, он уверен. Мы беззащитны. Иллюзия линии Мажино. Надо было механизировать армию.

То было его главной идеей. Он долго пробовал достучаться до наших вершителей судеб. Но — безуспешно.

— Ваша беда, — сказал я, — что вы нас опережаете.

Лестный характер такого суждения его не смутил и в малой мере. Он это знал, а кроме того, был слишком озабочен, чтоб скромничать.

— Вас, но не время, — сказал он мрачно. — Оно упущено. Бесповоротно.

Он был убежден, что Мюнхен — трагедия. И более того — катастрофа. Мы будем воевать очень скоро. Но только уже без помощи чехов и — безусловно — без помощи русских. Конечно, нам адски не повезло в том, что у руля — Даладье. История выбрала человека, который ничем ей не соответствует. Ни дара предвидения, ни мощи, ни воли ответить на вызов времени. Но дело в том, что точно таков же и весь наш политический класс. Изнеженный, эгоистический, пошлый. Уверенный в том, что имеет право распоряжаться участью нации, чей возраст больше тысячелетия. Которая знала и Жанну д'Арк, и Бонапарта, и даже Фоша. Стоит внимательней

**Л
Е
ЗОРИН
Н
И
Д**

приглядеться — на всей этой касте печать вырождения. Все надо менять. Начиная с верхушки.

Что удивительнее всего, его мессианская одержимость не вызывала ни раздражения, ни даже улыбки — я понимал: он искренне верит в свое назначение. Мое уважение к нему лишь росло.

17 НОЯБРЯ

Помню Кейптаун и то, как стоял я на зубчатом каменном берегу. Из суши, как из распахнутой пасти, воинственно выпирал острый клык, нацеленный в самую грудь океана.

Я усмехнулся: мыс Доброй Надежды. Надеемся вопреки очевидности. Битва по-прежнему не унималась какой уже год на всех континентах.

Судьба была милостива ко мне. Я не участвовал в «странной войне», я продолжал воевать в Марокко. Эти сражения продолжались по крайней мере еще два месяца после того, как Париж был взят. Фортуна спасла меня от лицезрения немцев на Елисейских Полях, но мне привелось потом, на экране, увидеть кадры триумфа

Гитлера в июньский полдень в Компьенском лесу.

В том самом вагоне, где некогда Франция отпраздновала конец войны, той, первой, победной, в том самом вагоне он принял ее капитуляцию. Не было более выразительной и впечатляющей декорации для унижения побежденных. Я всматривался в его лицо, когда он спускался по ступенькам. Напрасно он старался придать ему небрежное будничное выражение. Оно сияло, как голенища начищенных до блеска сапог. Он ласково их похлопывал стеклом, зажатым в подрагивающей ладони.

Будто вооружившись чудесной, невесть откуда взявшейся оптикой, я видел отчетливо, что он испытывает в этот головокружительный миг. Мальчишка из австрийской провинции, мазилка, хронический аутсайдер, отставленный ефрейтор без будущего, измученный своими ночами, своим израненным честолюбием, своей затоптанной, ущемленной, изголодавшейся душой, он наконец-то берет реванш. Не то что у мира, который так долго не замечал его, нет, он берет его — больше, чем у мира, — у города в котором родился, нет, еще больше! — у улицы, на которой он жил, у всех

соседей, у глупых родителей, не понимавших его особенности. И вот он дождался, дошел, доказал.

Я помню, как сжимал кулаки, как бормотал: потерпим, потерпим. Ты ведь еще не знаешь, кто ты. Как все безнадежные провинциалы, ты быстро уверовал в этот взлет. Ты так и не понял, что сплошь и рядом история над нами хохочет, показывает, чего мы стоим. Она поворачивается ко всем своим вторым — балаганным — ликом, пока мы воочию не убеждаемся, что лик этот и смешон, и страшен. Паяц, плясун, размалеванный клоун! А можешь ли ты отвести свой взор от этого пряного летнего дня и от оплеванного вагона, от рукоплещущих, исходящих в оргиастическом иступлении, почти обезумевших соотечественниц, от всех, повторяющих твое имя, и заглянуть за незримый полог, увидеть себя через несколько лет? Ты убежден, что все будет так же? Что не придется платить по счету?

Я приложил немало усилий, чтоб наконец добраться до Лондона. Путь мой лежал через Нью-Йорк. Зато я был первым офицером, прибывшим к де Голлю, — мой Гиз Лотарингский уже был приговорен Пете-

ном, который возглавил тех, кто смирился. Вердикт был суровым — смертная казнь. Свидетельствую, что приговор не произвел на него впечатления. Его задевало значительно больше холодное отношение Рузвельта.

Что делать? Таков этот смутный мир. Борьба, даже самая справедливая, нечасто оказывается прямонаправленной, иной раз решающие сражения проходят в рядах твоей собственной армии — по Аристотелеву закону. Свет не меняется, в этом все дело!

Де Голлю пришлось себя отдавать не только одному Резистансу, не только сплочению макизаров — ему досталась неблагодарная, но неизбежная конфронтация с двумя неожиданными соперниками. Сперва это был адмирал Дарлан, спустя краткий срок — генерал Жиро. Первый был человеком без чести и потому — весьма опасен, второй, хотя и храбр — бесцветен.

Тот и другой явились на сцене, ибо де Голль внушал опасения. Прежде всего — Белому дому. Неясно было, чем обернется его вызывающая независимость — «дурной характер», так называл он это малоудобное свойство. Не раз и не два я вспоминал угру-

мую шутку за обедом, в Париже, в китайском ресторане.

Рузвельту пришлось отступить. Сначала мой Гиз устранил Дарлана. Потом и Жиро сошел с арены — военное мужество нам доступней, чем политическая голгофа.

Я дрался до мая сорок первого против фельдмаршала Эрвина Роммеля, прозванного «лисом пустыни». Однако и я — за столько-то лет — не был в ней розовым новичком. И через год мне удалось вывести две свои дивизии из окружения — мы уцелели. Я знал пустыню, оттенки цвета и смену запахов, знал ее норы, я научился в ней выживать.

Когда Шикльгрубер рванулся на Сталина, рассчитывая опередить его, я понял, что Франция спасена. Провинциал из Браунау должен готовиться к концу.

Демон Сталина оказался сильнее. Во власти его была страна, однажды распятая и повисевшая тысячу лет на своем кресте. Она не только давно привыкла, она еще умела страдать. Это стоическое страдание создало своеобразный мир, никем не постигнутый, необъясненный, по-своему даже неуязвимый. Вобравший в себя две части

планеты. При этом приумножение пространства было его неизменной целью.

Однако в военное лихолетье долготерпение помогло. Сосо не считал своих убитых. Даже в последний час войны, когда уже не было необходимости уйти, умереть в полушаге от счастья, от возвращения, от любви. Свершилось — Москва вошла в Берлин.

Отчетливо помню, как Алексей назвал страданье «позором мира». Тот случай, когда я с ним мысленно спорил. Несчастье! Проклятье! Но — не позор.

И все-таки мой отец был прав. Пусть даже он говорил о мире, зато писал для своих соплеменников и думал, когда писал, о них. О них терзался, за них страшился. Боялся, что страдание станет не только образом жизни — нормой! Проникнет в их клеточную ткань, навеки войдет в состав их крови. И не возвысит — наоборот! Лишь сделает глухими к беде. Сначала — к своей. Потом — к чужой.

Давно уже я оставил Россию, но, видимо, давняя связь крепка. Я то и дело к ней обращался все еще незажившей частью своей души, и тайная боль, похоже, осталась неисцеленной. Мне все еще хочется разгадать, чем вызвано смутное ощущение так прочно

связанной с ней угрозы? Что это — призрак, самовнушение, всеобщее помрачение умов?

Казалось бы, у этого странного, необозримого материка есть не решенная им забота — освоить и возделывать просторы, дарованные ему историей. Нет, в самом деле, есть чем заняться столь неуживчивой государственности. Дать наконец своим стойким гражданам достойное их существование! К чему этот жгучий зов расширения? И неизбывная подозрительность, неуходящее недоверие ко всем, кто живет вовне и внутри? Пожалуй даже, что к собственным подданным они особенно велики. Страна то стихающей, то оживающей тысячелетней гражданской войны.

Но еще больше меня сокрушала ее мазохиистская склонность к самодержавной тирании. Мне чудилось, что мое отечество будто выращивает себе деспота, который однажды его насилует. Это ведь надо так исхитриться, чтобы найти в закавказском городе собственного своего палача! И что убийственнее всего — палачество сойдет ему с рук. Настанут заветные майские дни, и эта беспмятная империя восторженно простит триумфатору и отнятые умерщвленные жизни, и арестованную судьбу, и свое соб-

ственное унижение, и мою глупую бедную Лизу.

Все эти думы являлись неожиданно и так же стремительно уходили. В те жаркие годы до них ли было!

Военное счастье непостоянно. К исходу сорок второго года мне стало окончательно ясно — у гуннов увядает азарт.

Случились и важные перемены в течение собственного сюжета. Я вновь из солдата стал дипломатом — в который уже раз совершал это привычное превращение. Мой Гиз бесповоротно уверовал в мои политические таланты. Я был отправлен в Южную Африку к фельдмаршалу Смэтсу — мне предстояло договориться с ним об оружии. Нашей «Сражающейся Францией», в сущности, нечем было сражаться — держали нас на голодном пайке.

Я с нескрываемым интересом разглядывал престарелого бура, с неожиданным волнением вспоминал свою нижегородскую юность. Как мы за них переживали! Гордое племя переселенцев, вставшее на пути Британии. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя...» С ума сводили слова и мелодия.

О, Господи, прошло сорок лет, куда все делось, где эти страсти? Теперь предо мною

стоял друг Черчилля, который тогда был его врагом. Время примиряет нас с прошлым, чтоб ненависти хватило на будущее.

Де Голль не зря на меня понадеялся. Поездка в Преторию удалась. Я вызвал у старика симпатию. Он согласился помочь оружием. При этом — по терпимой цене. Из уважения к нашей бедности.

В апреле произошло событие, бесспорно, важное для меня, — я был произведен в генералы. Франция наконец расщедрилась и начала отдавать долги. А через месяц Гиз Лотарингский вновь предложил мне собрать чемоданы — на сей раз мой путь лежал в Китай. К исходу года я стал послом.

Столицей тогда был город Чунцин. Своим положением он был обязан тому, что японцы были в Нанкине, были в Пекине, в Шанхае, в Кантоне. Я привязался к этому городу, разбросанному на двух берегах. На левом проходила правительственная строго официальная жизнь, на правом — в низкорослых домишках текла неизменная, многовековая, неспешная, как река Чанцзянь. Я привязался и к тем, кто жил в этих неприхотливых постройках, доставшихся от дедов и прадедов. Я понимал, что все они знают, быть может, самое сокровенное

о сути нашего бытия, к несчастью, не доступное мне.

Весь век свой я пришпоривал дни, весь век страшился отдать потоку хотя бы одну свою минуту, стремился наполнить и начинить пламенем, порохом и страстью каждый принадлежащий мне миг. И вот я увидел иных людей, не предъявляющих жизни счета, понявших, что они только видимые, естественные частицы времени. Что их назначение — не отделить себя от мерного течения вод, напротив — каждый рожден быть каплей, которая образует реку. Что надо стать камешком стены, лечь комом глины в фундамент дома.

Я знал, что мне это не дано, я попросту не способен так чувствовать, вовек не попытаю я радости от приобщения к некой целостности и не постигну тайны покоя. Я обречен жить сам по себе, так же, как весь мой род на Земле, всегда отстаивавший свой путь и тем осудивший себя на изгойство. Мой младший брат так рано погиб не от болезни, не от «испанки», он был подточен собственной ложью: требовал абсолютного равенства и рвался в президенты, в вожди. Это должно было скверно кончиться. Я думал не без тайной отрады, что пусть мои

дни были столь же страстны — горячечны, огненны, нетерпеливы, — но я не монашествовал напоказ, я избежал соблазна аскезы, тем более не похвалялся ею. Не прятал своего естества, нисколько его не подавляя. Я был собой, и я еще жив — награда за то, что отверг притворство.

Конечно же, китайские лидеры были достаточно честолюбивы и обладали вкусом к власти. Иначе не стали бы теми, кем стали. Но и они состояли в особых — своих — отношениях со временем. Позиционировали себя как верных Хозяину работников (Время и было этим Хозяином), но были при этом убеждены, что вечность работает на них. Поэтому торопиться некуда. Будущее давно известно. Оно предначертано, предрешено.

Забавно, но этот фаталистический, вполне метафизический взгляд мне изложил — и весьма выразительно — не толкователь древних заветов, согбенный многоопытный старец, совсем напротив — цветущий мужчина, причем представитель Мао Цзэдуна при гоминьдановском руководстве. Звали его Чжоу Эньлай.

У нас с ним сложился своеобразный, весьма осторожный, достаточно сдержан-

ный, но регулярно возобновляемый и притягательный диалог.

То был человек хорошего роста, с красивым породистым лицом (сказалась помещичья родословная). Учился он, ясное дело, в Европе — там и заболел коммунизмом. Он очень медленно поднимался по лестнице партийной карьеры, но именно это отсутствие суетности скорее всего ему помогло завоевать доверие Мао. Китайцы, как правило, немногословны, но он выделялся и среди них какой-то подчеркнутой молчаливостью. Однако она не угнетала, ибо в ней не было пустоты. То было насыщенное молчание, похожее на застывшую паузу, возникшую в напряженной беседе. Хотелось понять, что оно значит.

Меж нами, бесспорно, образовалась некая связь. Не скажу, что симпатия — он бы себе ее не позволил — и все же взаимный интерес был несомненен, мы с ним встречались чаще, чем было необходимо.

Именно от него я услышал одну примечательную притчу, сильно теряющую в пересказе. Мудрец осведомился у путников о цели пути, они заверили: куда бы ни привела дорога, они ответят ей благодарностью. Есть лишь одно на свете место, где не хоте-

лось бы им оказаться — это пустыня Такла-Макан. Мудрец сказал им, что путь их будет длиться семь лет, — когда эти годы минут, пусть тогда они вспомнят его вопрос и свой ответ. Надеюсь, вы уже догадались — спустя семь лет они очутились как раз в пустыне Такла-Макан. Наши желания управляются силой, живущей не в нас, а вовне. Наше движение — часть ее замысла.

Я спросил его: в чем же тогда наша роль? Он усмехнулся: видеть и слышать. Видеть, как движется муравейник, и слышать, как ступают века.

Я много думал об этой притче. А также и о самом рассказчике. Нежданная мудрость в устах коммуниста, который, казалось бы, просто обязан быть преобразователем мира. Помню, что я впервые задумался о том, что этот ханьский марксизм не схож ни с советской, ни с западной версией.

Когда впоследствии я узнал, что мой собеседник сумел уцелеть и сохранить свое положение во всех потрясениях и превратностях, которые выпали его спутникам, я искренне за него порадовался, однако нисколько не удивился. Я снова видел перед собою непроницаемое лицо в тот миг, когда я хотел разгадать его, и мне отвечала

медленным взглядом могучая неподвижная Азия. Я сопоставил себя и его. Мне вдруг почудилось — я нашел, я отыскал наконец начало давно точившей меня тревоги. Я разглядел его в этом взоре, отмеривающем спокойно и веско сменяющие друг друга столетия. Все верно — сила копится в статике. Счет должен идти на тысячи лет, они перемещаются прочно, величественно, бесповоротно. Не то что месяцы, даже годы — с конвульсиями, с потерей сознания. Я понял, как назывался тот яд, который некогда отравил древнее семя моих предшественников, — неутолимое нетерпение. Им нужен был воплощенный Замысел. Здесь и сейчас. Они пожелали, чтобы их срок на нашей Земле, эта короткая вспышка света, ничтожный человеческий день вместил историю — вот в чем проклятье, вот она, каинова печать!

Но тут же усомнился в открытии. И это я говорю о племени, которое уже два миллениума надеется на свое возвращение? Потом усмехнулся: ждать можно по-разному. Жизнь в предчувствии катастрофы словно притягивала ее.

Невероятно, но эта мысль нашла невольное подтверждение, когда я общался с дру-

гим китайцем — генералиссимусом Чан Кайши. Этот профессиональный солдат, бесспорно, не обделенный мужеством, командовавший миллионными армиями, сильно терял в прямом сравнении с почти неприметным эмиссаром его многолетнего оппонента.

В нем не было той грозной загадки, которая существовала в Чжоу, хранившем Великий Закон Муравейника. Того, что перемалывал время и тихо заглатывал пространства. С которым — во всех его ипостасях — я чувствовал вечную несовместимость.

Загадка существовала в том малом, который кормил меня и Гиза в радушном китайском ресторанчике за девять месяцев до Второй мировой. Стоило только присмотреться к тому, как стоит он, не шевелясь, точно он врос ногами в землю, с закрытыми наглухо глазами, не упуская ни слова, ни звука, чтоб прикоснуться к неясной тайне, в которую он был погружен. Казалось, вокруг этой неподвижности словно шуршат шаги теней.

Напротив, глядя на Чан Кайши, я понимал, почему вся ставка сделана Западом на него. Он был понятней и постижимей. Почти в любом своем проявлении. Даже

в своей любви к супруге, властолюбивой воинственной даме, под чьим влиянием пребывал. Ничуть не меньше, чем Поль Рейно, зависевший от своей графини, капризной и вздорной Элен де Порт, и принимавший в сороковом решении, губительные для Франции.

Не посягаю на сан провидца. Однако же едва ли не кожей я ощутил тогда в Чунцине, что в неминуемой схватке с Мао генералиссимус не устоит.

С ним неотступно находился его лобастый нахмуренный сын. У Цзян Цзинго была своя собственная, весьма примечательная история. Примерно пятнадцать лет назад, совсем еще молодым человеком, он постигал науки в Москве. Роман Гоминьдана и коммунистов в те дни уже подходил к концу. В России отец студента немедленно был заклеен как ренегат. Не слишком подходящее слово, и все же юноша принял сторону непримиримых учителей. В газетах печатались его письма к запятнанному изменой родителю. И каждое из них начиналось коротким запальчивым обращением, звучавшим, точно удар бича. «Кайши!» Далее сразу же следовал черный реестр отцовских грехов.

Все это было в далеком прошлом. Ныне, вполне по-европейски, сын стал его ближайшим сподвижником, другом, официальным преемником. Кроме того, он возглавлял разведывательную службу отца. При чем исполнял свои обязанности с поистине незаурядным рвением. Было известно, что для него не составляет особой сложности сделать из человека зеро.

Я встретился вновь с отцом и сыном больше, чем через двадцать лет, — на бывшей Формозе, теперь Тайване. На Острове, превращенном в крепость. Все, что осталось им от Китая. Оба разительно изменились. Генералиссимус одряхлел, сын его стал еще мрачнее. Впрочем, и мне предстояло осенью, сколь ни трагично, перешагнуть восьмидесятилетний рубеж.

Я оказался на Тайване с миссией, более чем деликатной. Гиз Лотарингский не зря решил поворочить мои старые кости. Мне было поручено оповестить отвергнутого страной полководца, что Франция признает отныне новый Китай Мао Цзэдуна.

Естественно, я не стал развивать скользкую тему Realpolitik. Тем более не стал говорить о том, что понял еще в Чунцине: его неумолимый противник полнее постиг закон

Муравейника. Я предпочел не раз и не два сказать об искреннем восхищении, — никак не зависящим от обстоятельств, — его заслугами, его личностью, великой исторической ролью.

Он холодно выслушал эти речи. Внутренне он был подготовлен к предательству Запада. В самом деле, симпатии недорого стоят, цену имеет Realpolitik. Он лишь сказал, что даже и брошенные, они предпочтут погибнуть под натиском тоталитарного миллиарда, но не отречься от демократии.

Я содрогнулся: похоже, он сам бесповоротно вестернизирован. Чтобы услышать подобные клятвы в верности демократическим принципам, необязательно ехать в Тайбей.

Украдкой взглянул я на Цзян Цзинго. Сын и соратник, суровый преемник, не произнес ни единого слова. Однако этого и не требовалось. Стоило бросить мгновенный взгляд на ненавидящее, непримиримое, окаменевшее лицо — и было понятно: его не сдвинешь.

Вслух я сказал, что вполне уверен — битвы с континентом не будет. Бесспорно, в ближайшие десятилетия Тайвань сохранит

свою суть и свой выбор. А дальше... кто знает, что будет дальше, чей выбор, чья правда восторжествуют. И я, и великий человек, с которым я горд сегодня беседовать, оба уже старые люди и знаем, что вечного нет ничего.

Похоже, что я не слишком лукавил. Мао Цзедун день ото дня утрачивал свою предсказуемость, и только Чжоу Эньлай казался твердыней китайского постоянства. Я помнил: он не из тех, кто дергается. Полвеком скорее, полвеком дольше, — куда торопиться, в конце концов мы неминуемо обнаружим, что все мы в пустыне Такла-Макан.

Тогда, в Чунцине, меня обступали другие нелегкие заботы. Мало-помалу я с ними справился, но то были трудные времена и унижительные обстоятельства. Мы были беднее церковных мышей, случалось, что я платил сотрудникам из собственных средств — не хватало денег.

Как утверждать величие Франции, ставшее целью и манией Гиза (заветное *le grandeur de la France!*), если на счету каждый франк, к тому же шатающийся от инфляции. Пойти на содержание к Лондону? Легче всего. Но тогда соответственно следует забыть о *grandeur*.

Впервые в жизни так много времени забрали валютные операции. Поистине непроходимые джунгли для неискушенного легионера. Но выбора не было — я из них выбрался.

На сей раз мой рубежный период совпал с историческим поворотом. Я ощущал, что я еще молод, мне стукнуло всего шестьдесят. Уже было ясно — война на исходе и скоро меня отзовут в Париж. Я вспоминал свои адреса в этом обетованном городе. Когда-то, до Первой мировой, я весело жил на rue Berthollet — какие проказы там резвились! И Алексей был так озабочен, ворчал, что я безбожно бездельничаю. Мне было трудно ему внушить, что дело любви главней всех прочих.

Потом, после конца войны, я снова очутился в Париже и жил уже на rue des Belles Feuilles. Перед второй войной мой адрес был на faubourg Saint-Honore'e — туда не хочется возвращаться. Слишком печальными были дни, предшествовавшие всемирному морю. Рухнули оба поспешных брака, ушел Алексей, исчезла дочь. Надо найти другое пристанище.

По вечерам я молча смотрел, как катит свои воды Чанцзянь. На том берегу, в при-

земистых домиках, текла устремленная в вечность жизнь. Я остро чувствовал одиночество. Однажды я написал Саломее. Она давно была уже Гальперн, женой известного адвоката, жила в Нью-Йорке, за океаном, там ее спрятал любящий муж. Дочь ее стала коммунисткой, совсем как Лиза — обычное дело для девочек из хороших семей, стыдящихся счастливого детства, мечтающих о всеобщем равенстве.

Я написал моей бывшей возлюбленной о том, что она жива в моем сердце, о том, что я помню все, что звенело, кипело, пело в нашей крови. И в самом деле — отлично помнил, как я увез ее из Батума на нашей военной канонерке. Помнил привал в Константинополе. Помнил, как на границе в Болгарии проштемпелевал ее паспорт лежавшей на стойке почты печатью — в конце концов, все визы условны и все печати друга друга стоят.

Нет, молодость еще не погасла, не изошла, еще не торопится покинуть мою помятую плоть. И чем я взволнованнее и жарче думал о прежних своих подругах — о Саломее и о княгине Жак де Брольи, о Вере Альтовской, кружившей мне голову, тем я боль-

**Л
Е
ЗОРИН
Н
Д**

ше чувствовал приближение бури. Подобно блаженному Августину, еще не любя, любил любовь, которая должна снизойти и вознести — «амогет амави».

И ныне, когда является женщина, сделавшая мой вечер солнечным, я принимаю жизнь как праздник.

Эти слова о тебе, Эдмонда.

19 НОЯБРЯ

Как поздно судьбу мою увенчала она, которую ждал я так долго. Я знал: без нее сюжет не кончен и я не могу завершить мою пьесу. Моя одержимая уверенность себя оправдала — она вошла, как входит первый утренний луч в комнату с низкими потолками.

О, боги, я знал ее отца, когда он был послан в Ватикане. И до сих пор превосходно помню зеленоглазую малышку.

Но мне обидно не повезло — я не был свидетелем ее юности, прошедшей с шестнадцати лет на войне. Я не сидел у ее постели, когда она дважды лежала в госпитале после своих боевых ранений, и не держал ее руку в своей.

Да, эта женщина — по мне! Такая же воля и жажда действия, такая же огненная потребность

явиться на перекресток истории и оказаться в решающий час в решающем месте, в эпицентре! И та же знакомая тяга к перу, на сей раз щедро вознагражденная, — перо ее сделало знаменитой.

Мне жаль, что прошло еще много лет, прежде чем мы нашли друг друга. Я был уже близок к возрасту Гете и, обладай я его дарованием, возможно, возникла б еще одна «Мариенбадская элегия». Но я почти не писал стихов, кроме коротких безделушек юмористического свойства, да и Эдмонда уже была совсем не розовоперстой Ульрикой, а зрелой женщиной, вдоволь понюхавшей пороха боя и пороха жизни. Сегодня она уже миновала свою сорокалетнюю станцию — тому два года — и я люблю ее победоносным расцветом.

Война стремительно завершалась. Вчера лишь я с усмешкой почитывал американские бюллетени о том, что в Британию переброшен еще один воинский контингент, вчера лишь спрашивал сам себя в стиле когдатошних ювенилий: «И скоро ли очередной контингент переберется на континент?» Вчера еще популярные джазы сопровождали мобилизованных песенкой о мистере Грине, который разглядывает казарму, — да, вы

в казарме, мистер Грин, нет здесь матрасов и перин.

Вчера еще... но вот уже грянул июньский день, и Дуайт Эйзенхауэр приводит в движение план «Оверлорд», высаживается на берег Нормандии. Полгода спустя мясорубка в Арденнах уже означала конвульсии рейха. Меж тем на четвертом году борьбы советская армия перешагнула свои государственные границы, вступив в соседние государства. И можно было предположить — они постараются там задержаться.

Весною в Реймсе и Карлсхорсте сдалась Германия, было ясно, что сложит оружие и Япония. Кампания на Востоке закончилась — Макартур принял капитуляцию.

Я полагал, что уж теперь-то Великолепный Однорукий вернется в Париж — не тут-то было! Мне предстояло еще возглавить нашу военную миссию в Токио; пришлось в свои шестьдесят два года приняться за японский язык — судьба следила, чтоб старый мозг не зарастал и не застаивался, нашла, чем заполнить его колодец.

Миссия эта была полезной. Прежде всего знакомством с японцами. Не из привычного любопытства и не по службе хотел я понять,

как они приняли гибель иллюзий, как пережили Хиросиму. Я думал не только о переменах в их национальном характере, я видел, как из руин возникает истинно образцовое общество. То же происходило с немцами. Крах и триумф порою имеют обескураживающие последствия. Двадцатый век вколотил в наши головы то, что победа и поражение меняются своими местами.

Один мой сотрудник меня спросил: можно ли стать великой державой, не обладая великой армией? Я пробурчал: «Скорее, чем с ней».

Эту же мысль, иначе выраженную, я слышал от генерала Макартура, с которым искренне подружился. Он мне сказал, что запрет на оружие рождает нужду в его замене. Духовные мускулы населения могут однажды оказаться могущественнее, чем его войско.

Ну что же, оба старых солдата, как выяснилось, не слишком ошиблись. Теперь уже нет никаких сомнений, что мир очень скоро прибавит в росте. Естественно — за счет двух гигантов, встающих из собственных развалин.

Я дорожил этой новой дружбой. Нечасто у двух пожилых людей такого разного про-

исхождения, различного кроя, несхожей среды вдруг возникает подобная общность и обнаруживается родство.

Наши беседы мне доставляли почти такое же наслаждение, какое мне приносила страсть. Когда нам однажды пришлось проститься, я, странным образом, ощущал какую-то горькую осиротелость. Думаю, что и его коснулась такая же зимняя пустота.

К закату жизни почти физически чувствуешь, как редет мир. Едва ли не всякий день обнаруживаешь некое новое зияние. Но мало-помалу оно затягивается защитной пленкой цвета слюды. Природа лишает сознание красок, без них как-то легче существовать. Некрополь должен быть однообразен, чтобы не рвать на части сердце.

Но есть утраты — они не лечатся. Место насильственной ампутации не стягивается соединительной тканью, не зарастает ни свежим мясом, ни охранительным рубцом. Мне не хватает генерала.

Он умер два года тому назад. Когда я дошагал до восьмидесяти. Когда мне пришлось совершить поездку на преданную нами Формозу. И вновь мне велели отправиться в путь — на этот раз хоронить Макарура. На горькой торжественной церемонии

я не был самим собою, Пешковым, прибывшим взглянуть в последний раз на друга, который обрел покой. Я представлял не себя, а Францию.

Такое со мной происходило все чаще, — как видно, совсем уже сросся с новым отечеством, стал его частью. Я заплатил за это признание каждым легионерским днем, каждой верстой моего путешествия. При этом заплатил не скупясь. Франция отдает долги.

Не раз и не два в Почетном Дворе священного Дома Инвалидов я получал свои ордена, они уже с трудом умещались на генеральском парадном мундире. Не раз и не два привелось убедиться, что больше себе я не принадлежу, я превратился в одну из реликвий на ярмарке национальной спеси. В моей фигуре была величавость по классицистскому образцу — старый израненный ветеран. Но был и экзотический привкус — явившийся из непонятной России брат ее первого президента и сын великого человека, пусть даже его духовный сын — ныне солдат и защитник Франции, Великолепный Однорукий.

Я спрашивал себя: что я чувствую? Я столько думал об этих днях, я столько

**В
Ы
ВЫКРЕСТ
Р
Е
С
Т**

мечтал дожить до времени, когда перестану быть пришельцем, когда меня назовут своим. И вот пора эта наступила, мое восхождение завершилось, и пик достигнут — Сизиф взошел и вроде бы даже втащил свой камень. Но на седой вершине так пусто, так трудно дышать разреженным воздухом, так одиноко и морозно.

24 НОЯБРЯ

Шесть лет мы убивали друг друга. Уже без всяких условных пауз. До этого общего побоища почти десять лет я провел в Марокко, участвуя в противостоянии двух разных культур (или разных религий — это как вам будет угодно). Вернувшись в Париж, я наивно надеялся, что обрету состояние мира. На деле же меня ожидали смятение и ночная тоска.

Вторая мировая война (так же, как первая) объединила и синтезировала — по-своему — эти религии или культуры. Культуру обесцениения смерти с культурой обесцениения жизни. Война доказала, что жизнь и смерть, в сущности, мало что значат и весят, — обе они в конечном счете только орудия игры, ведущейся со дня основания нашего мудрого миропорядка.

Что оставалось? Да ничего. Установить свои ритуалы.

Мой каждодневный ресторан — русский. Давно освящен традицией. Мои регулярные визиты стали своеобразным обрядом. Однако в минувшую субботу собрались на Сен-Жермен де Пре в кафе «Deux magesaux». И неслучайно. Ибо в тот день предстояло отпраздновать интеллектуальный триумф. Поэтому был избран тот храм, где Сартр, вдохновленный Симоной, провозгласил — лет десять назад — свой манифест экзистенциализма. Где же и чествовать Эдмонду? Ее элегический вздох о Палермо увенчан гонкуровской наградой.

Я искоса смотрел на нее. На то, как она сияет и светится, как силится выглядеть равнодушной и между тем вбирает всей грудью терпкий и пряный хмель фортуны. За ней ухаживал крайне учтивый и стилизованный господин с литературной трубкой в зубах. Как мне сказали, известный критик. Возможно. Его звучное имя мне ничего не говорило.

Он соизволил пошутить. Успех, как словесность, непредсказуем. Не странно ли, что «нашей Эдмонде» высшую французскую премию принес ее итальянский роман?

Нисколько не странно. Самые прочные, самые острые впечатления нас посещают в истоке дней. Я тоже был обожжен Италией. Эдмонда познала ее ребенком, а я — в свою соловьиную пору: даже и час, не посвященный, не отданный всецело любви, казался мне отнятым у жизни.

Я без труда воскресил их всех, видел их лица перед собою. От той чертовки из кабачка, любовно кормившей меня форелью, до королевы, поившей водой в горячий ослепительный полдень, когда я изнемогал от жажды.

Потом в ушах моих прозвучал отцовский укоризненный голос: «Сынок, сынок, всех ягод не съешь». Впрочем, тогда и сам Алексей был еще молод и счастлив в объятьях своей мятежницы-генеральши.

Должно быть, виновница торжества заметила, что мой взор затуманен знакомой ей лирической дымкой. Она обронила — и не без яда, — что вроде бы в поле моего зрения попала некая незнакомка. Уж так устроены это зрение и его поле — они не могут не обласкать своим вниманием едва ли не каждую мордашку.

Я возразил: что значит «едва ли»? Любая женщина, не забывшая, что она женщина,

вправе рассчитывать на то, что глаза мои загорятся. Если Эдмонда всерьез полагает, что я в моем возрасте капитулировал, что вижу ее одну на свете, то это не более чем восхитительный, но неумеренный эгоцентризм. Впрочем, естественный и понятный в устах гонкуровского лауреата.

Мысленно я продолжил ответ. Женщина, и только она, может преобразить наш мир в солнечный луг в золотых цветах. Лишь раз я увидел его непридуманным и существующим в самом деле — то было в майский день под Аррасом, когда мы пошли в роковую атаку.

Но эта реальность не обесмыслила того, мальчишеского, видения, и каждая новая встреча с женщиной его ликующе воскрешала.

Так было и в Нейи с Керолайн, и с Саломеей, и с милой княгиней, которой я посвятил свою книгу. Не зря же я вспоминал ее профиль, валяясь с очередным ранением в легионерском лазарете. И не однажды так было в жизни, которой вдосталь выпало войн, кровопусканий, азарта, риска.

И все же Эдмонде не стоит хмуриться — она и стала, в конце концов, моей замированной любовью, последней ставкой

в последней войне, моей обреченной войне со временем, теперь, когда всякий мой день и час могут вдруг стать прыжком с обрыва.

Она уверяет меня, что в старости я стал похож на Андре Моруа. В ответ я пожимаю плечами: жаль, что не на его героев. Она усмехается: не завидуй. Твоя биография увлекательней, чем участь этих несчастных каторжников, прикованных к своему столу.

Не знаю. Не дерзну им сочувствовать. Когда-то Алексей мне сказал: чтоб сделать из своей жизни каторгу, ты просто обязан ее обожать.

Впрочем, а почему бы мне не походить на Андре Моруа? Мне попадались его портреты. Внешнее сходство неоспоримо. Ну что ж, если я, Зиновий Пешков, когда-то был Заломоном Свердловым, то этот непревзойденный стилист, прежде чем стать Андре Моруа, успел побывать Эмилем Эрзогом. И очень возможно, что нас с ним связывает не только наше внешнее сходство. Да, у нас разные сюжеты, и тем не менее, тем не менее... Он точно такой же бастард, как я. Ибо Зиновий Пешков — бастард. И что из того, что он академик, а я генерал? Мы оба бастарды. Кочующие дети Вселенной. Такими

однажды мы были изваяны нашим жестоковыйным родом.

Эта навязчивая мысль сразу же заставила вспомнить другой многозначительный ужин — в самом начале октября. Я был приглашен на него моим Гизом, и за столом мы были вдвоем.

Сначала наш диалог брал разбег. Неторопливые мемории и элегические шутки. Я чувствовал, что мой президент нащупывает и тон и ритм. Он вспомнил, как много лет назад я пошутил («весьма изящно»), коснувшись своих арамейских корней: «Народ мой произошел от бедняги, которого собственный отец обрек на жертву». («Печальная шутка», — прокомментировал президент.)

Теперь, повторяя эти слова, он усмехнулся: «Так вы, мой друг, не пожелали наследовать бремя — быть обреченным на жертву Богу. Даже от рук своего отца». — «И брата», — добавил я, вспомнив Якова.

Мы посмеялись. Но я уловил момент перехода лирической встречи в беседу патрона с его подчиненным.

Итак, его дьявольски тяготит этот тугой палестинский узел. Обычно в разговорах со мной он избегал иудейской темы. Однажды я мимоходом заметил, что тема

эта весьма опасна — способна поссорить и старых друзей. Он поспешил со мной согласиться, и это слегка меня удивило — он никогда не торопился немедленно поддерживать собеседника. Его авторитарный характер не позволял ему подхватить чье-то суждение безоговорочно. Такая мгновенная солидарность мне показалась не слишком естественной. Нисколько не желаю сказать, что Гиз был затронут известным недугом, однако новое государство было предметом его забот едва ли не со дня основания.

Мне долго казалось, что островок, вдруг всплывший в ближневосточном море, не может иметь прямого касательства к его идее величия Франции. «Grandeur» — это равенство с победителями, «Grandeur» — это бомба, которую он, не слушая протестов, взорвал. Но — крохотная точка на карте? Однако мало-помалу я понял, чем вызвано его раздражение.

Его героическое решение уйти из Алжира все еще жгло его и оставалось открытой раной. Бесспорно, в те нелегкие дни идея по имени «Grandeur» трагикомически накренилась. В любом квартале я видел надписи, сделанные мелком на стенах «Де

Голь — предатель!» — их было множество. Вчерашние яростные сторонники по-своему отводили душу.

Его историческое оправдание (не перед ними — перед собой) было лишь в том, чтоб сохранить, а если сказать честней — возродить наше влияние в арабском мире. Империи нет, но пусть еще теплится неутолимый имперский миф. Стало быть, необходимо занять точную взвешенную позицию в конфликте миллиардной конфессии со вновь образованным государством. К тому же понятно, в какую сторону меняется состав населения в самой метрополии, в Париже. Мне вспомнилось письмо Алексея, полученное лет сорок назад. Еще в ту пору мой зоркий отец писал, что «Европу атакуют люди, чуждые ее духу».

Гиз поделился со мной намерением послать меня в январе в Тель-Авив. Встретиться — но неофициально — с Эшколом и прежде всего с Даяном. Слово последнего станет решающим, когда израильские стратеги склонятся к тому, что день икс неизбежен. Меж тем такая угроза все ближе. Ошибка считать, что она локальна. Меч занесен над регионом, в котором практически сошлись все кровеносные артерии, жизнен-

но важные для планеты. С этим и не хотят считаться мои вероятные собеседники. Как видно, библейская территория сильно способствует солипсизму. Гиз озабоченно проговорил: «Гордый и нетерпимый народ. Обе удачные кампании — в сорок восьмом, в пятьдесят шестом — просто им всем помутили головы». Он был уверен, что именно я сумею воздействовать на Даяна. Втолкую, что бывают периоды, когда разумнее, взвесив силы, не слишком упорствовать и дожидаться другого расположения звезд. Это в их собственных интересах. Ведь ждали же две тысячи лет.

Неоспоримое наблюдение. Я постарался попасть ему в тон.

— Вы полагаете, что понимание возникнет в присутствии двух отсутствий?

Он вопросительно вскинул брови. Я пояснил свою сентенцию:

— У одного отсутствует глаз, а у другого — рука. Сближает.

Гиз рассмеялся:

— Искренне рад вновь убедиться, мой генерал, что вам не изменяет ваш юмор.

О, разумеется. Все как прежде. Я вспомнил, как двадцать семь лет назад мы с ним обедали у китайцев, — можно сказать, непо-

далеку от зарождавшейся войны. Похоже, что та совместная трапеза предвосхитила мой приезд в Чунцин и весь мой дальнейший китайский опыт вплоть до недавней поездки в Тайбей.

Передо мною внезапно воскресла первая встреча моя с Чан Кайши. В ту пору звезды расположились прямо над его головой. Черчилль тогда обращался к миру: «Можем ли мы без волнения думать об этом герое и полководце, без восхищения произносить это блистательное имя?» Как оказалось, отлично можем. Не сомневайтесь. Realpolitik. Можем. Без всякого волнения. С той самой минуты, как этот герой расстался со своим муравейником. Realpolitik сурово исходит из высшей правоты муравейника. Иметь на своей стороне муравейник — это и есть Realpolitik.

Я занимался ею в избытке. В сущности, всю свою долгую жизнь. Когда не геройствовал, только и знал — свивать и сплетать ее паутины. Однако со временем все приедается — и подвиги на полях сражений, и геополитический смрад.

Да, именно так. Именно смрад. И даже когда речь — о титанах. А Гиз относится к их числу. Ибо и самый большой характер привязан ко времени и обстоятельствам. И,

будучи соотнесенным с историей, оказывается драматически мал. Все эти знаменитые люди, стоявшие у ее подножия, могут рассчитывать лишь на биографов. Назвал же однажды наш славный историк, почтенный Николай Полевой, Петра «чадолюбивым отцом». Чадолюбивый сыноубийца.

«Гордый и нетерпимый народ...»

Я не возразил президенту. Я попросту ощущал тоску. Но что я мог сказать человеку, с которым давно связал свою жизнь? Только вздохнуть, что таланты лидера, его сокрушительный ум и воля дались ему жестокой ценой. Кажется, мог бы себе шепнуть: бывает и понятная гордость. Хотя бы своей литературой. Это не шутка — сработать Книгу, которую будут читать всегда. До нового Взрыва или Потопа. Кое-что надо иметь за душой.

Но — нетерпимый? Нет, мой генерал. В гостях не пестуют это свойство. Возможно, и следовало привыкнуть, что нетерпимостью называют твое нетерпение Блудного Сына, решившего вернуться домой. Возможно. Но и готовность свыкнуться, смириться, покориться истории, эпохе, судьбе и муравейнику однажды оказывается исчерпанной.

Я заглушил в себе эту отповедь. Ибо моя одиссея выкреста, вечного странника на Земле, вряд ли давала законное право на сей неожиданный странный вскрик.

За долгие годы я научился помалкивать на всех языках. И много ли толку во всех аргументах? Однако де Голль, возможно, расслышал нечто произнесенное вслух. И неожиданно переменял тему нелегкого разговора.

Но я уже мысленно дал себе слово: от этой миссии — воздержусь. Я чувствовал направление ветра. Дым газовых печей оседает, и вновь выходит на авансцену не склонная к чувствам Realpolitik. И есть искусник Зиновий Пешков. Дипломатический Jack of all trades. Этаким мастер на все руки, хотя и всего с одной рукой. К тому же бывший единоведец. Но нет. На сей раз мой Гиз ошибся. Мне надоела Realpolitik и свойственная ей мнимая жизнь. Я вызубрил, что мораль смешна. Беспомощна. Во все времена несвоевременна и неуместна. И все же случается так, что звезды располагаются странным образом. И преграждают путь муравейнику.

26 НОЯБРЯ

— L'eruption! — сказал капитан. И засмеялся. Был вешний полдень.

Все чаще передо мной возникает улица Большая Покровка и комнаты с низкими потолками. Там мне впервые приснился луг в солнечных золотых цветах, и я уподобил ему тот путь, который мне нужно было осилить.

Пули настигли нас одновременно. Он умер после недолгих мучений. Мне предстояло жить полвека.

Rue Loriston в вечерних огнях всегда притягательна и загадочна. Даже под нудным парижским дождем.

Теперь, когда дни мои сочтены и стали видны мне на всем протяжении, я удивляюсь все больше и больше: странно, но мне-то в этом спектакле досталась абсур-

дистская роль — в духе новейшей драматургии. Так дорожить любой минутой, так остро чувствовать ее вкус, больше того, ее значение, и вместе с тем с такой безоглядностью жонглировать собственной судьбой. Единственным своим достоянием. Стеклянным сосудом. Свечой на ветру.

Эта ребяческая уверенность, что истина неразрывна с опасностью, сопровождала меня весь век, я был убежден, что этот кураж дарует ему и цену, и смысл.

Скорей всего это была ошибка. Но мне повезло. Я долго жил. Возможно — непоколебительно долго.

Да, своевременная смерть — такая же крупная удача, как своевременная жизнь. Якову повезло со смертью — не унеси его та «испанка», наверняка бы убил его Сталин. И было бы ожидание выстрела, была бы последняя ночь перед казнью, клики ликующего народа, приветствующие акт правосудия.

Но даже и без подобной расправы жизнь начинает звучать пародийно, когда запаздывает с финалом. Едешь в экспрессе, как экспонат для развлечения пассажиров. Дамы и господа, взгляните — тот самый склеротик, который забыл сойти на положенной

ему станции, проехал пункт своего назначения. Куда же он едет? Да кто же знает...

И все же нельзя остаться в экспрессе.

Как немцы осенью восемнадцатого почувствовали, что армия выдохлась, что мощь изошла, ответить нечем, и неожиданно для врага, для мира, для собственного народа, вдруг объявили, что бой окончен, так человеческое бытие однажды трагически выдыхается и обесточивается, пар выходит, кровь обесцвечивается и свертывается.

Не зря же в этот промозглый вечер я думаю о своем начале, о том, что так уже далеко.

А значит, я думаю о России.

Там, на востоке от rue Loriston, дышит громадная, все выносящая, так и не понятая страна. В этой стране я однажды родился, в этой стране моя бедная дочь лучшие годы промаялась в лагере, в этой стране стоят два города. Один из них носит имя брата, другой из них носит имя отца, второго, но истинного отца. Он был, конечно же, умерщвлен, но этого так и не знают толком — имя его почти сакральное.

Мое же имя там неизвестно, и более того — под запретом, его не советуют вспоминать. Ибо оно бросает тень и на того и на другого. В России я никому не нужен.

Как ясно, с какою дрожью я вижу ее опустевшие деревни с их заколоченными домами, заледеневшие города, в которых зимой так рано темнеет, где столько молодых марафонцев в комнатах с низкими потолками гадают, куда зовет дорога, — совсем как я на Большой Покровке.

А нужен я Франции, где так скоро меня торжественно погребут? Стала она мне матерью-родиной? Не знаю. Быть может. Но нет... не знаю.

Лежу на марокканском песке, от жгучей боли вопит и стонет моя простреленная нога. Неведомо почему я вижу знакомый луг в золотых цветах и тороплюсь пробежать этот луг. Я так еще молод, все впереди, со мной моя сумасшедшая удаль, и вера в себя, и обе руки. И ноги сильны, как две пружины, две туго сжавшиеся пружины, уже изготовившиеся к броску.

Я знаю, как все это будет выглядеть. Легионеры в белых кепи и ярко-алых эполетах несут, кто — гроб, кто — мои награды, они уместятся на трех подушках. Все тот же однообразный дождь словно сечет своими струйками кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Эдмонда, укрывшись под черным

зонтом, следит за исчезновением гроба. Старое однорукое тело медленно скрывается в яме.

Никто не заметит моей усмешки. Все эти люди убеждены, что опускают в песок мой прах, глухие и незрячие кости. Но это не так. На самом деле я слышу призывные звуки горна, и гром оркестра, и гул салюта. Почти над моей головой пылают круглые звезды Эль-Крейдера, я вижу оливки Марракеша и всю мою крылатую жизнь, мой утренний луг в золотых цветах.

Я слышу приятный баритон, произносящий с подчеркнутым трепетом: «Он посвятил свое мужество Франции. И справедливо, что в ее лоне это столь верное долгу сердце вкусит сегодня покой и мир».

Отменное галльское красноречие. Я слышу, но не могу ответить. Сказать им, что они заблуждаются — покой ко мне так и не снизойдет.

Но ритуал есть ритуал. Пусть совершается все, что должно. Франция хочет воздать все почести пришельцу, который стал ее сыном и отдал ей свою страсть, свое пламя, ветхозаветную волю к жизни. Пусть прогремят сначала выстрелы, потом — столь звучная Марсельеза. Оркестр взмост под небеса,

а Однорукий Великолепный сойдет в сырую французскую землю.

Затем живые продолжают жить. Эдмонда утрет алмазные слезы, их будет немного — такому вкусу всегда и во всем претят излишества. Не обернувшись, покинет кладбище. А я остаюсь, я гляжу ей вслед. Она уходит — прямая, строгая, черная шаль прикрывает голову, лебяжью шею и ту ложбинку, которой я касался губами. Ей предстоит писать свои книги и осчастливить своим талантом, своим изяществом, своей прелестью неведомого мне человека.

Живые продолжают жить. Бог в помощь. В юные годы я был уверен, что жизнь — прежде всего приключение: она прекрасна своей опасностью. Сегодня я знаю — отвага мысли опаснее любой авантюры. Но я не боюсь и последствий мысли.

Если бы мой голос мог вырваться из глины, которой заткнули мне рот, из душной клетки, я бы сказал им: в этом своем последнем доме я, как и всюду, останусь гостем. Мне даже в нем не избыть своей чужести. Братство и общность не привились к этой невосприимчивой почве.

Все мы осуждены метаться в жестких тисках своих резерваций. Всем нам невы-

носимо тесно. Тесно — с мгновения зачатия.

Семени — в материнской плоти.

Племени — в родительской вере.

Времени — в отведенном пространстве.

А человечеству — на Земле.

Я знаю, как адски оно талантливо и как патетически неумно. Как озабочено только тем, чтоб поскорей себя уничтожить. Похоже, что глупость подобной мощи уже не совмещается с жизнью.

Прощай, Эдмонда, твоя фигурка все дальше и дальше, еще минута, еще полминуты, — и ты оставишь кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Капли неспешно стекают с зонта и с черной шали, твои очертания теряют четкость — дождь размывает. Прощай, Эдмонда, мое дыханье. Есть только один непридуманый праздник — счастливая встреча мужчины и женщины. Все прочее — детские погремушки.

Равно как остальные фантомы. Не стоят и гривенника ни власть, ни звон удачи, ни шелест славы, ни уж тем более грязная похоть национального верховенства.

Я понял это быстрее ровесников. Они хотели от мира смысла, а я хотел от него отбиться. Им надо было переменить его, мне

надо было с ним совладать. Они искали себе врагов, я находил своих спасительниц. Когда мы обнимали друг друга, я чувствовал, что прикасаюсь к истине.

Но мне еще выпал особый жребий. Мне было дано обрести отца. И он одарил меня всем, чем мог — судьбой, любовью, бессмертным именем. Я снова думаю об Алексее с его влюбленностью в этот шар, с верой в печатную машину и убежденностью — стоит прочесть несколько необходимых книжек, и глобус станет совсем иным. Наверное, прощаясь с людьми и веком, он сознавал, что это не так.

Но обрываю себя. Кто знает... А если в простодушии гения больше и мудрости и прозренья, чем в долгом историческом опыте?

И ныне, когда иссяк мой срок, сюжет завершен и время вышло, когда наконец настал мой час идти за тобою, тебе вослед, мне нужно, чтоб там, где ты есть, ты знал: на свете не было человека дороже, роднее и лучше тебя.

Я снова вижу твои глаза с их запредельной голубизною и слышу твой глуховатый голос:

— Где ты, сынок?

— Я здесь, Алексей.

16 октября 1884 — 27 ноября 1966.

2006—2007

От автора

В сентябре 1997 года в 9-м номере «Знамени» вышла в свет «Тень слова». За прошедшие годы журнал опубликовал тринадцать моих работ.

Передавая эту — четырнадцатую, — которая продолжает цикл монологов («Он» — № 3, 2006, «Восходитель» — № 7, 2006, «Письма из Петербурга» — № 2, 2007), я мысленно отмечаю десятилетие такого тесного сотрудничества.

Я искренне благодарю за него редакцию «Знамени» и моего неизменного редактора — Елену Сергеевну Холмогорову.

Трудясь над «Выкрестом», я не мог обойтись без исследования доктора медицины М. Пархомовского (М.: «Московский ра-

бочий», 1989), столь полновесно систематизировавшего документы и факты биографии лица, произносящего этот монолог.

Он посвящен светлой памяти человека, встреча с которым определила всю мою дальнейшую жизнь.

Литературно-художественное издание

ОТ АВТОРА «ПОКРОВСКИХ ВОРОТ». РУССКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ РОМАН

Зорин Леонид Генрихович

ВЫКРЕСТ

Ответственный редактор *Е. Аксенова*
Художественный редактор *Г. Федотов*
Технический редактор *В. Кулагина*
Компьютерная верстка *Э. Ремаркова*
Корректор *С. Журин*

ООО «Издательство «Яуза»
109507, Москва, Самаркандский б-р, д. 15
Для корреспонденции:
123308, Москва, ул. Зорге, 1
Тел.: (495) 745-58-23

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-58-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Есілесы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-58-86, 8 (495) 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тәуар белгісі: «Эксмо»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 58 89, 90, 91, 92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жағрамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат: сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 26.08.2014. Формат 70x90^{1/32}. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,33. Тираж 3 000 экз. Заказ 6166

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-75868-5



9 785699 758685 >



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**

E-mail: International@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact

Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.

International@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. +7 (495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.**

E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса
«Канц-Эксмо»:** Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.

Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д.
29, бизнес-парк «Грин Плаза». Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42.

E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9. Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

В Донецке: ул. Артема, д. 160. Тел. +38 (032) 381-81-05.

В Харькове: ул. Гвардейцев Железнодорожников, д. 8. Тел. +38 (057) 724-11-56.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.fiction.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: Imarket@eksmo-sale.ru



Новая книга от автора легендарных «Покровских ворот»!

Первый роман о Зиновии Пешкове, человеке потрясающей судьбы и неистовых «ветхозаветных» страстей. Родной брат Якова Свердлова, усыновленный Максимом Горьким. Крещеный еврей, отказавшийся от веры отцов, но так и не ставший христианином. Герой обеих Мировых войн, потерявший руку на Западном фронте и удостоенный ордена Почетного Легиона.

Этот роман – *«одиссея выкреста, вечного странника на земле»*. Подобно Агасферу, он повидал весь мир. Подобно Моисею, полжизни воевал в пустыне, прокладывая путь в Землю Обетованную. Подобно Соломону, не просто любил, а поклонялся женщинам, был осчастливлен многими красавицами и обрел новый символ веры: *«Женщина – это спасение Господне! Моей религией на всю мою жизнь осталась женщина...»*

